



И. А. БУНИН

Избранные письма

ПИСЬМО К БОССАРУ

21 июля 1921

Господин издатель,

Вы просите меня дать сведения о моей жизни и литературной деятельности. Позвольте ограничиться следующими немногими строками.

Я происхожу из старого дворянского рода, давшего России немало видных деятелей как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальмы.

Все предки мои всегда были связаны с народом и с землей, были помещиками. Помещиками были и родители мои, владевшие именьями в средней России, в том плодородном подстепье, где древние московские цари, в целях защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, где благодаря этому образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым.

Родился я в 1870 году, в городе Воронеже, детство и юность почти целиком провел в деревне, в поместьях отца. В отрочестве, под влиянием смерти моей маленькой сестры, я испытал сильную религиозную страсть, не оставившую, однако, никаких болезненных следов в моей душе, и страсть к живописи, которая, как мне думается, сказалась в моих литературных произведениях. Стихи и прозу я начал писать довольно рано. Рано появился и в печати.

Издавая свои книги, я почти всегда составлял их из прозы и стихов, как оригинальных, так и переводных (с английского). Если разделить все это по родам искусства, то получится тома четыре оригинальных стихов, тома два переводных и томов шесть прозы.

Критика обратила на меня внимание довольно скоро. Затем мои книги не раз были увенчаны высшей наградой Российской Академии наук — премией Пушкина. В 1909 году эта Академия избрала меня в число тех двенадцати Почетных академиков, которые соответствуют французским «Бессмертным».

Однако известности широкой я не имел долго — по многим причинам: я долго, после появления в печати моих первых рассказов, не писал и не печатал почти ничего, кроме стихов; я не участвовал в политике и не касался в своих литературных произведениях вопросов, связанных с нею; я не принадлежал ни к одной литературной школе, не называл себя ни декадентом, ни символистом, ни романтиком, ни натуралистом, не надевал вообще никаких масок и не выкидывал никаких крикливых знамен; а между тем за последние десятилетия, очень бурные в России, судьба русского писателя часто зависела от того, находится ли он в борьбе с существующим государственным строем, вышел ли он «из народа», был ли он в тюрьме, в ссылке, или же от его участия в том литературном шуме, в той «литературной революции», которая, в подражание Западной Европе, прodelывалась в эти годы в России с ее быстро развивавшейся городской жизнью, с ее только что народившейся бульварной печатью и с ее новыми критиками и читателями из среды молодой буржуазии и молодого пролетариата, разночинства, одинаково невежественных в понимании искусства и жадных до мнимой новизны, до всяческих сенсаций. Кроме того, я мало вращался в литературной среде. Я много жил в деревне, много путешествовал и по России и за границей: в Италии, в Сицилии, в Турции, на Балканах, в Греции, в Сирии, в Палестине, в Египте, в Алжире, в Тунисе, в тропиках. Я стремился «обозреть лицо мира и оставить в нем чекан души своей», как сказал Саади, меня занимали вопросы философские, религиозные, нравственные, исторические.

Двенадцать лет тому назад я опубликовал свой роман «Деревня». Это было началом целого ряда произведений, рисующих без всяких прикрас русские характеры, русскую душу, ее своеобразные сплетения, ее светлые и темные, но почти всегда трагические основы. В русской критике и в среде русской интеллигенции, где в силу многих своеобразных условий, а за последнее время и просто в силу незнания народа или политических сооб-

ражений, народ почти всегда идеализировался, эти «беспощадные» произведения вызвали страстные споры и в конечном итоге принесли мне то, что называется успехом, который еще более укрепил мои последующие работы.

В эти годы я чувствовал, как с каждым часом крепнет моя рука, как страстно и уверенно требуют исхода накопившиеся во мне и созревшие силы. Но тут разразилась война, а затем русская революция. Я не был из тех, кто был ими застигнут врасплох, для кого их размеры и зверство были полной неожиданностью, но все же действительность превзошла все ожидания.

Во что вскоре превратилась русская революция, не поймет никто, ее не видевший. Зрелище это было совершенно нестерпимо для всякого, кто не утратил образа и подобия Божия, и из России бежали все имевшие возможность бежать. Бежало и огромное большинство самых видных русских писателей, и прежде всего потому, что в России их ждала или бессмысленная смерть от руки первого встречного злодея, пьяного от разнузданности и безнаказанности, от грабежа, от вина, от крови, от кокаина, или позорное рабское существование во тьме, во вшах, в лохмотьях, среди эпидемий, в холоде, в голоде, в пещерных муках желудка и унижительных заботах только о нем, под вечной угрозой быть выброшенным из своего нищенского угла на улицу, быть посланным на уборку солдатских нечистот в казарму, быть без всякой причины арестованным, избитым, оскорбленным, увидеть свою мать, сестру или жену изнасилованной — и в полном молчании, ибо за малейшее свободное слово в России могут вырезать язык.

Я покинул Москву в мае 1918 года, жил на юге России, переходившем из рук в руки «белых» и «красных», а затем эмигрировал за границу — в феврале 1920 года, испив полную чашу несказанных страданий и напрасных надежд, что христианский мир наконец прозреет, ужаснется своему бессердечью и протянет нам руку помощи во имя Бога, человечности и собственной безопасности.

Некоторые критики называли меня жестоким и мрачным. Не думаю, что это определение справедливо и точно. Но, конечно, много меду, а еще больше горечи дали мне мои странствия по миру и наблюдения над человеческой жизнью. Я смутно страшился за судьбу России, когда рисовал ее, — и моя ли вина, что действительность, та, которой живет Россия вот уже четыре года, сверх меры оправдала мои опасения, что те мои картины, которые казались когда-то даже русским людям слишком черными и неправдоподобными, стали «пророческими», как некоторые называют их теперь! — «Горе тебе, Вавилон!» — эти страшные слова Апо-

калипсиса неотступно звучали в моей душе, когда я писал «Братьев» и задумывал «Господина из С<ан>-Франциско» за несколько месяцев до войны, когда предчувствовал весь ужас и те бездны, которые обнажатся после нее в современной цивилизации, — и я ли виноват, что и здесь мои предчувствия не обманули меня?

Значит ли это, однако, что моя душа полна только тьмой и безнадёжностью? Нет. «Как лань к истокам вод, все стремится сердце мое к Тебе, Господи!»

Примите, Господин издатель, мою благодарность за то внимание, которые Вы оказали мне. Привет Вашей благородной родине, давшей мне приют в моем изгнании, в эти страшные для нас дни, когда наша далекая несчастная родина воистину поражена всеми казнями египетскими.

ИЗ ПИСЕМ К Б. К. И В. А. ЗАЙЦЕВЫМ

12 мая 1924

Дорогой друг, сейчас прочел Ваше письмо. *Очень* тронут им и обнимаю Вас за него очень крепко, с теми неизменными чувствами и к Вам и к Вашему таланту, которые уже давно и верно храню в душе. А поводом к этому письму искренно удивлен: Бог с Вами, откуда Вы взяли, что я что-то возымел против Вас?! Вы не поехали в Грасс? Но это не вызвало во мне ровно ничего, *кроме огорчения*. Мы на вечер не остались? Но на это было много причин совершенно посторонних. Мы *не могли* не выехать 29-го и очень жалели, что не будем с Вами на этом вечере, а сейчас от всей души рады его успеху. Целую Веру, Наташу и еще раз и особенно — Вас. Истинно буду счастлив, если Вы побываете у нас летом. <...>

16 октября 1925

Дорогой Борис Константинович,

Вы пишете о моей «*общей крайней подозрительности*» по отношению к «Перезвонам». Но я в ней неповинен. <...> Что же до орфографии, то ее теперь употребляют и не одни большевики и сменовеховцы: вон эсерское «Пламя» многое печатает по ней, вон собор студентов-демократов (недавно ко мне обращавшийся) издает в Праге журнал «Своими путями» с новой орфографией; наконец Вы и сами, кажется, допускали ее для некоторых Ваших издателей. И какие выводы делаю я из этого? Никаких. Только

огорчаюсь. Но *лично у меня* это пункт помешательства. Недавно неожиданное письмо: от В. С. Мирова (Миролюбова). Приехал в Прагу, вступил в «Пламя» вместо Ляцкого, собирает сборник, просит дать что-нибудь — и пишет по новой орфографии. Я ответил, что не соглашусь на нее даже за миллион долларов. <...>

25 октября 1928

Дорогой, прости поздний ответ — плохо себя чувствовал (да и чувствую), понервничал с «Арсеньевым», третью книгу которого все-таки отослал. Видел Мережковских — насчет журнала уклончивы, — «может быть, его и совсем не будет», «на Струве поставлен крест...» Получил письмо от Белича: «Один Струве, казалось, не может быть редактором, нужно соорудить редакцию, нужно какого-нибудь писателя или критика... Кого бы?» Вот и все. Про издательство: «Выпустим 12 книжек в год. Вот первые: Алданов, 2 тома Мережковского (“Наполеон”), сборник рассказов Лескова, “Евгений Онегин” с комментариями...» Странный список! Ну, да Бог с ним совсем, с этим делом! Одно вижу: что Мережковские уже внедрились в него и его, верно, погубят. Что до меня, то от сотрудничества с ними просто уклонюсь.

Целую вас всех.

Твой Ив. Бунин.

Да, еще будет книга Зинаиды — это уже она сама мне говорила.

10 ноября 1929

Весьма благодарю, дорогой друг, за все — и за то, что написал (а то уже очень давно не было о тебе ни слуху ни духу) <...> и за доброе слово об «Арсеньеве»: *очень* рад, что тебе нравится, — эта «книга» доставила мне особенно много волнений и сомнений. Восхитился твоей пронизательностью — ты страшно верно попал в точку: да, все-таки я человек весьма «нервический» и довольно-таки склонный «создавать себе препятствия», — если бы ты знал, напр., сколько их стоит *сейчас* передо мной насчет всего дальнейшего в этом самом «Арсеньеве»! Хотя ведь и то сказать: поставил я себе задачу истинно дьявольскую, небывалую по трудности! <...>

6 ноября 1933

Дорогие, страшно тронут Вашим отношением ко мне. Что до дела, то оно *было*, по-моему, очень серьезно. Но ответили, что я

«réfugié» — не то, что М., который, я думаю, французский подданный. И не сохранили телеграммы в тайне — значит, все сразу узнали — и на rue de Grenelle, конечно, а оттуда — «энергичный протест»...

Целую Вас, милые, очень. Ваш Ив.

6 июля 1935

Мой дорогой, милый, спасибо тебе за чудесное письмо, — это совершенно точно — чудесное, — и да сохранит Вас Бог, целую тебя и Веру, желаю всех благ и думаю, что тебе будет очень хороша эта поездка, что ты напишешь прекраснейшую книжку о Валааме. Получили «Дом в Пасси», я еще не читал — страшно был занят приготовлением следующей книги для «Петрополиса», — сейчас ее читает Марга, которая у нас уже давно и пробудет, верно, до середины августа. Очень жалко Куприна. Да и Бальмонта — я, по правде сказать, не ожидал, что дело так серьезно — вернее, безнадежно, непоправимо. <...>

16 ноября 1938

Дорогой мой ясновельможный пан, спасибо за все! <...>

Андреев все-таки был большой талант. Но почти все нестерпимо выходит у него. А на некоторые вещи даже дивисься: самая лубочная, смехотворно-трагическая декламация.

Целую тебя и Веру от всей души. Я был в запале писать — и вдруг сел: чуть не месяц кровь — и все пошло к черту, очень ослабел.

Дорогой Борис, *очень* благодарю за письмо о «Позднем часе». Надеюсь скоро увидеть тебя и Веру.

Целую Вас сердечно.

Твой Ив. Катышкин.

8 августа 1939

Милые, дорогие *staruszki*, простите за поздний ответ — нахожусь в каком-то безволии и в грустях, писать, чувствую, еще не могу, езжу купаться, читаю всякую ерунду... Надеялся писать в сентябре, в октябре, как вдруг удар: надо отсюда выбираться 30 сентября — Belvedere сдан с 1-го октября кому-то *на несколько лет!* Alors, пожалуйста в Париж, а Вы знаете, что в Париже я не писатель... <...>

20 октября 1939

Мои дорогие, Островский не прав, говоря так: «От думы вошь на человека кидается». И я так много и так горько думаю, что не худобы боюсь, а вшей. Как живем — Вы представляете. Прошлая зима, такая грустная и одинокая для меня, кажется теперь уже счастьем. Читаю твои прекрасные «Дни», Борис. Читаю «Данте» Мережковского. Какой схоласт, словоблуд, мать его так! Сейчас сижу в Ницце, в ресторане.

Пусто, солнечно, мучительное спокойствие осени. Пропадаю, милые. Перечитал на днях «Смерть Ив<ана> Ильича». Разочарование. Нет, не то! Не в том дело, что как-то «не так жил».

Целую Вас сердечно. Ваш Ив. Бунин.

12 декабря 1939

<...> ...все солнце и солнце, и я непрерывно томился тайным желанием куда-то уехать, кого-то встретить — и вместе с тем чувством, что нигде ничего и никого не встретишь, — давно знакомым чувством, — и потому по целым дням все читал да читал — как уже давным-давно только это и делаю. А читаю я все старые книги, больше всего старые журналы — 50-х, 60-х, 70-х годов — из библиотеки при старой ниццской церкви (где, к дикому своему изумлению, внезапно наткнулся на Павла Николаевича Цакни, брата моей первой жены, которого я не видел лет сто с Одессы и который оказался теперь уже не Бебой гимназистом, а старичком, живущим *на 100* фр. в месяц, кои он получает за заведование этой библиотекой, очень милым, очень неглупым — и оборванным и грязным так, как может быть оборван какой-нибудь из тех нищих, что по ночам бродили по Парижу с фонариком, выбирая всякую мерзость из ордюрных ящиков). Вчера и нынче я читал в «Русском вестнике» за 67-й год как раз Тургенева — уж не знаю, в который раз, перечитывал «Дым» и на этот раз *особенно* скорбел, до чего это просто невозможно читать теперь (за исключением одной трети) — пуще всего начало, с этими Биндасовыми, Пицалкиными, Суханчиковыми — и *Ратмировыми!* Подумай только, *Ратмиров!*

Целую тебя и Веру, жду вестей от тебя. Пишешь ли что-нибудь новое, большое? Мне хотелось бы засесть за что-нибудь большое (т. е. длинное) ужасно.

Твой Ив.

17 мая 1943

Милая Вера, посылаю тебе несколько своих стихов, чтобы ты знала, что я еще не совсем забросил «лиру»: я за последние два года написал целую книжечку их, которая будет когда-нибудь напечатана под таким заглавием: «Письма дяди Вани Бунина Олечке Жировой». Вот, например, она как-то спрашивает меня: «Милый Ванюша, напиши мне, как ты пировал на именинах у своих друзей Самойловых, пил ли ты водку, настойку и вино и какое было меню у вас?» И я ответил ей так:

Милая Олечка!

У моих друзей пируя,
Ел змеиную икру я,
Пил настойку из клопов
И вино из бураков.
Остальное тоже было
Очень вкусно, очень мило:
Суп из наба, фарш из блох
И на жареное — мох.
А потом нам подавали
Карамель из мух в крахмале,
Чай Пи-пи и торт Ка-ка
Из Кондитерской в Восса.

(Надеюсь, что этими стихами, Вера, воспользуется будущий историк «Новой Европы».)

Помнишь ли ты Олечку, дочку Ляли, что очень часто бывала у нас в Париже с Роциным, потом жила с Олечкой у нас на юге, а потом у мужа на его ферме под Монтобаном? Житье на этой ферме было нищее, ужасное, а все-таки у Олечки были кролики, цыплята, куры, утки, котята, кошки, и я писал ей:

Дорогая Олечка,
Подари мне кроличка
И пришли в наш дом
Заказным письмом.
Я его затем
Вместе с Верой съем,
Ушки пополам
Марге с Галей дам,
А для прочих всех —
Лапки, хвост и мех.

Я писал ей поздравленья с днем рожденья, на именины:

На весь день я бросил чтение,
Сижу песенку пою:

«Поздравляю с днем рождения
Олю милую мою!
Ах, ах, ахахах.
Олю милую мою!»

В именины нашей Оли
Все цветы запляшут в поле,
Все деревья и кусты,
Все дороги и мосты.
А на ферме — все цыплята,
Куры, кролики, котята,
Кошки, утки — и сама
С папой под руку мамá!

Ляля приучила Олечку отца называть папой, а ее не мамой, а мамá.

Иногда Олечка подолгу не писала мне, и я писал ей так:

С постели рано я вскочил —
Письмо от Оли получил!
Я не читал и не молчал,
А целый день скакал, кричал:
«Как наша Оля подросла —
Переросла она осла,
А ведь не маленький осел —
Он ростом выше, чем козел.
Потом, смотрите, как умна,
Как образованна она!
Наверно, очень хорошо
Сдала экзамен на башо
У кур и кроликов своих,
Когда из рук кормила их!»
Но оказалось, что во сне
Вся эта глупость снилась мне,
Что я письма не получал
И не скакал и не кричал, —
И так обиделся я вдруг,
Что поседел и весь распух.

Иногда я грозил ей, когда она долго не писала:

Вот что я тебе скажу:
Я в полицию схожу... <...>

17 мая 1943

Дорогой, милый Борис, уже давно получил твое чудесное и полное такой прекрасной грусти письмо, растроган был им до слез — прости, что так поздно отвечаю: отложил ответ, чтобы

написать тебе как-нибудь получше, а уж ты знаешь, что из этого почти всегда выходит. А потом — все слабость, слабость, грусть бесконечных воспоминаний, безволие... И кто это выдумал, буд-то воспоминания о счастливых днях — радость! Нет ничего мучительней! И вот, от слабости и от этой грусти, посидишь, посидишь за письменным столом, выкуришь несколько окурков — и поплетешься к дивану с какой-нибудь уже много раз читанной книжкой (новых-то ведь нету). Вот так и проходят дни, да еще как скоро — не успеешь оглянуться, уж и зима или весна прошла! А главное — дней-то осталось мне страшно мало, и вечная мысль об этом просто сокрушает меня. Верить в загробную жизнь я, как ты знаешь, никак не могу, да если бы и верил, разве утешило бы это меня в близкой разлуке с землей! — Впрочем, помолчу лучше... <...>

12 сентября 1943

<...> Мой дорогой «старушек», мне очень трудно писать, избегаю — что-то у меня с правым локтем, боюсь нажимать на него, — вот почему и не ответил тотчас же на твое очень, очень тронувшее меня письмо. Очень благодарю тебя — хоть все это уже в прошлом для меня, как мне кажется, — может быть, от слабости телесной да и душевной, в которую я что-то все больше впадаю, — но все-таки было радостно: хоть чуть не один ты у меня такой читатель, который каждое словечко понимает, а все-таки не совсем, значит, даром писалось. И уж позволь просить, чтобы ты меня еще немножко похвалил (про себя, мысленно): ведь весь этот Арсенич сплошь выдуман, — как выдуманно девять десятых всего мною написанного. <...>

8 ноября 1943

Дорогой Борис, спасибо тебе за твои заботы обо мне, очень тронут тобой — ведь это ты, конечно, подсунил меня этому молодому издателю. Думаю, что из этого ничего не выйдет, ведь ты сам не очень веришь в него, — тем более, что *романа* у меня нет, а рассказы издателей мало интересуют. Но *на всякий случай* все-таки послал тебе маленький роман, слишком маленький для отдельного издания, хотя думаю так: если издатель заинтересуется, и издание будет мало-мальски путное, а главное не жульническое, и кое-что заплатит *вперед*, то ведь можно и <к> этому маленькому роману, под обложкой: Nathalie, roman приставить несколько рассказов, тоже любовных, из них 25, что написаны

мною за последнее время в моем «заальпийском уединении» (Петрарки сном!). Я завтра пошлю их тебе несколько штук (из наиболее эротически терпимых современной французской цензурой). Пошлю опять по-французски, но через день-другой и по-русски: ты по-французски не читай, выходит в переводе, а еще и неважным, гораздо говеннее, чем в подлиннике.

И опять, опять благодарю тебя очень за добрые слова обо мне. Письма Флобера я перечитал ($\frac{3}{4}$ впервые, впрочем, читал) года 2 тому назад. Да, многое, многое *удивительно* прекрасно то в том или другом смысле — это был совсем, совсем особый француз! Какое сердце высокое, романтическое, какой благородный и настоящий ум! А его любовная ночь, его, кажется, главная любовь, пережитая им в Египте с какой-то бывшей наложницей какого-то паши! Это тебе не французское любовное приключение в экзотических странах!

Поцелуй Верочку (мы получили от нее недели 2 тому назад 2 письма) и скажи ей: вот в «Натали» две любви, как вообще бывают две любви и две ненависти и одна из них иногда вдруг перебивает другую. *Я с ней не смею спорить*, но прочие... Впрочем, это дело их вкуса и ума, математики... <...>

9 ноября 1943
вечер

Дорогой мой, десять лет тому назад вечером я чувствовал себя немножко лучше. Нынче у нас был тоже парадный обед в честь Нобеля: макароны (т. е., вернее, липкие клецки из сырой, затхлой муки) и бутылка вина, что воротит морду на сторону совершенно дьявольски. Собрал и разодрал все окурки, сделал папиросу, тайком цапнул мару, тайно запрятанного в подполье, закурил и вот сию и пишу...

Вчера послал тебе большой пакет — «Nathalie» по-французски. Нынче утром — письмо, где есть между прочим просьба к тебе *не читать ее по-французски*; завтра пошлю по-русски.

Дорогой мой, милый «старушек», горячо вспоминаю, с каким благородством, с какой сердечностью, с полным недуманьем о себе ты, единственный из всей братии по перу, отнесся к этому нобелевскому дню! Никогда тебе этого не забуду!

Твой Ив.

P. S. Рад, что понравилась Вам Олечка. Все пишу ей стихи:

Милая Олечка, как поживаешь?
В школе бываешь иль просто гуляешь,
Дома же в куклы и с котькой играешь,

А вечерами под ручку с мама
Ходишь то в гости, а то в синема?

11 ноября 1943

Вот тебе, дорогой мой, русский текст. Повторяю, что совсем почти не надеюсь, что из дела выйдет что-нибудь путное, но отчего ж не послать! Пошлю и еще кое-что тоже на всякий случай, а главное, чтобы поделиться с тобой этими писаниями, а то все они в столе да в столе. Я тебе писал когда-то, что у меня набралась целая новая книга (*вся о любви, простите пожалуйста!*)... (Опять алерт, это мрачное, умоляющее завывание! — третий день подряд и все в полдень, в ярком и холодном солнечном свете, — но Бог с ним, хотя все-таки страшновато — где-то уже слышен очень громкий ропот и гул — сижу в халате и подштанниках, надо одеться...)

Оделся и в ожидании отбоя дописываю. Книга эта называется по первому рассказу «Темные аллеи» — во всех следующих дело идет, так сказать, тоже о темных и чаще всего весьма жестоких «аллеях любви». Рассказы эти большей частью в лист — самая крайняя сжатость, хотя я и всегда был на этом довольно помешан. И вот еще что — нынешней осенью все хотелось писать и писал что-нибудь милое, пустяковое, веселое из любовных делишек — что ж все думать о смерти и дьявольских делах в мире! Бокачио написал «Декам<ерон>» во время чумы, а я вот «Темные аллеи».

«Ну, пока». Целую Вас обоих.
Твой Ив.

19 ноября 1943

Милый друг, едва пишу — так больно руке от холода. Без конца шлю тебе свои рассказы — распалился — главным образом для того, повторяю, чтобы поделиться с тобой своими трудами и днями, а еще с мыслью: Бог знает, что будет со мною, пусть будут дубликаты у тебя. Когда-то послал чуть не всю эту книгу для перевода своему американскому издателю — ответа от него не имел, но узнал, что каким-то образом кое-что было напечатано там по-русски.

Послал тебе пока вот что: «Натали», «Генрих», «Смарагд», «Таня», «Зойка и Валерия», «Руся», «В такую ночь»; нынче посылаю: «Три рубля» и «В Париже». Дошло ли что-нибудь? Извести пожалуйста в 2 словах. Переводов не шлю — некоторые рассказы не переведены. Да и зачем? Целую Вас. Твой Ив.

Так как уже 2 часа ночи, то 21 ноября <19>43 г.

Дорогой Борис, задремал было — алерт, выглянул в окно — буря, ливень, тьма такая везде, как, бывало, в России, в деревне, в глухую осень, в полночь — крошечная — и в ней этот рев. Получил твое письмо от 17-го, очень рад, что «Натали» тебе и Вере понравилась и очень жалею, что прочли ее по-французски. Книга моя почти вся не переведена, есть еще всего 4 переведенных рассказа, если понадобится твоему французу познакомиться еще с несколькими рассказами, пришлю их. По-русски пошлю тебе завтра днем еще одну штучку — на всякий случай, повторяю, главное — чтобы были у тебя дубликаты, если, например, разрушится или сгорит наша вилла: я тебе писал, что почти вся книга есть у моего американского издателя, но в текстах не окончательно исправленных, тогда как теперь я их, мне кажется, уже совсем, совсем исправил (в мелочах, разумеется, но ты ведь знаешь, что порой десять неверных или лишних слов портят всю музыку, как портят ее тупые переводы).

Ну, храни вас и нас Бог — отбоя все нет, но делать нечего, ложусь опять в постель.

Твой Ив.

3 декабря 1943

<...> Рад <...> тому, что «Натали» и «Руся» и кое-что в других тебе понравилось. А что до «менструаций» и Зойкиных ж..., думаю, что ты неправ. Что ж тут не эстетичного? «И сказала Рахиль Лавану: прости, господин, не могу встать с седел навстречу тебе, ибо у меня обыкновенное женское...» И подумать только, какую роль играло это «обыкновенное женское» в любовной жизни каждого из нас и в таковой же у наших женщин! По-моему, про насморк и про то, как «Иван Иванович шумно высморкался в клетчатый платок», писать гораздо неэстетичнее. А уж про Зойкины ж... и говорить нечего. Красота и ужас! «Литература от этих подробностей не выигрывает, говоришь ты, — дела они не укрепляют». Да дело не в «выигрывании» и не в «укреплении» — я ничего не хотел этим выигрывать и укреплять (т. е. с меркантильной целью) — просто задача моя была писать именно об этом, поистине «роковом». Можно, конечно, сказать: плохая задача, ненужная, — да так ли это? Неужели можно доходить только до: «уста их слились в пламенном поцелуе»? Вот «межножье», может быть, и немножко не в меру... но опять скажу: эта резкость в

соответствии полном, по-моему, со всей хохлацкой ожесточенностью Валерии...

Ну, да что ж спорить на *бумаге*, может быть, Бог даст, *поговорим* как-нибудь — я ведь тоже, милый, «не Белинский», не горазд писать такие вещи.

Спасибо, что написал о Зинаиде. Часто думаю о ней. Страшное дело! 52 года вместе! И вот — одна! Наговорит она о нем, конечно, Бог знает что — с тысячами выдумок и ножей в спину многих, многих, но ты прав — занятие для нее спасительное.

Целую Вас обоих, целую Наташеньку с ее милым, милым голоском и смехом.

Твой Ив.

Может быть, на днях пошлю тебе 2—3 штуки, еще «возмутительнее».

А Верочка что думает насчет моих «дерзостей» в рассказах?

18 января 1944

Милый Борис, нынче сказали нам, что умер Юргис. Правда ли? Думаю, что правда, потому что сказал человек сведущий, и огорчен весь день. Ничего не знал и не думал о нем больше четверти века, — кроме того, что ты провожал с ним в могилу Бальмонта, — и вот все-таки грустно, грустно — совсем уходит куда-то наша прежняя жизнь! Писал тебе о нем, спрашивал тебя о нем после твоего письма о смерти Бальмонта, — ты, верно, забыл это, не ответил. Ах, Боже мой. Боже мой! <...>

29 января 1944

<...> Милый Борис, милая Вера, вот вам кое-что из моих последних записей:

Дни близ Соренто, дни в апреле,
 Когда так холоден и сыр,
 Так сладок сердцу Божий мир...
 Сады в долинах розовели,
 В них голубой стоял туман,
 Селенья черные молчали,
 Ракиты серые торчали,
 Вдыхая в полусне дурман
 Земли разрытой и навоза...
 Таилась хмурая угроза
 В дымящемся густом руне,
 Каким в горах спускались тучи
 На темно-синие их кручи...
 Дни, вечно памятные мне!

В эти дни мне еще было совсем немного лет, я выпивал за сутки по пяти бутылок Позилиппо и писал по рассказу — да, по рассказу в сутки и очень, очень часто! И вот —

Мистраль бушует за стеной,
 Безлюдный вечер длится, длится...
 Пора в постель — уснуть, забыться,
 Душе и телу дать покой.
 Курить, свет лампы созерцая,
 И думать, думать без конца —
 Зачем вам эта жизнь пустая,
 Людские бедные сердца!
 Что пользы подводить итоги
 Ничтожных чувств, ничтожных дел,
 Поняв, что близок твой предел,
 Что ты на роковом пороге!

Целую Вас с большой грустью и любовью.
 Ваш Ив.

17 февраля 1944

Милый друг, вот тебе еще стишки — сложились тоже ночью, в постели, — представилось что-то вроде аббатства Thoronet:

Смотрит луна на поляны лесные
 И на руины собора сквозные.
 В мертвом аббатстве два желтых скелета
 Бродят в неподвижности лунного света.

Вежливо он наклоняется к даме
 (Рыцарь безносый к донне безглазой):
 «Мы ведь соседи. Притом же мы с вами
 Оба скончались от черной заразы.
 Я из девятого века. Решаюсь
 Полюбопытствовать: вы из какого?»

И отвечает она, оскалась:
 «Ах, как вы молоды! Я из шестого».
 <...>

6 марта 1944

<...> Рад, дорогой Борис, что стихи тебе понравились, горькое чувство, что уже далеки и невозвратны те «виргилианские» дни! Господи, как мы были счастливы и молоды — да, даже и я, — поистине было мне не больше 30 лет! <...>

Насчет Достоевского я еще пропишу тебе, Борис, кузькину мать — сейчас не до того.

Падая в постель после адской дневной работы, прочитываю с последней папироской несколько слов из «Тысячи и 1 ночи» — есть новый чудесный перевод — и засыпаю, смеясь: «Она изумилась красоте его уда и налила себе в шальвары...» А вы говорите — я похабно пишу! Целую. Ваш Ив. Б.

P. S. Да, вот еще несколько чудесных слов из «Тысячи и 1 ночи»: «Даже Авраам сказал Сарре: женщина создана твердой и кривой, как ребро».

12 мая 1944

<...> Сейчас ночь, поздно, и я так устал, что голова валится на стол — сидел за ним не вставая два дня вот за этой кляповинкой, что прилагаю. За последнее время написал стопку этих кляповинок, — все небольшие, — все думал посылать их тебе, — на всякий случай в надежде на сохранность дубликатов — да все не решался, боясь, что порвется сообщение с Парижем. Теперь еще больше шансов на это — и все-таки посылаю — на авось. (Скорей всего пропадет!) Почему это, а не другое, не совсем понимаю, — верно, потому, что только нынче конченное. Не ко времени все мои писания, да не все ли равно! А тут Москва — может быть, что-нибудь тебе с грустью вспомнится... <...>

25 мая 1944

<...> Дорогой Кардинал, «похвала нужна артисту, как канифоль смычку», — кажется, уже говорил тебе это и опять повторяю сейчас, когда ты меня опять утешил — на этот раз особенно — тем, что ты сказал: «Они в тебе никогда не понимали поэта, восхищающегося творением Божиим». И еще ты сказал: «человеколюбивые рассказы» — так хорошо сказал, ибо, пища и про девчонку в «Мадриде» и про «Катьку, молчать!», я то и дело умиленно смеялся, чувствовал нечто вроде приступа нежных, радостных слез. «Спи». — «Сичас, сичас... Я чтой-то раздумалась...» Спасибо, спасибо, милый. А какой ты умный! Конечно, началось с того, что вдруг почему-то вспомнил Женю (опять сирена и опять все побережье и весь Грасс и вся наша дача дрожит от грохота, зеленые огни сверкают между Ниццой и Антибами!), — вспомнил Женю, а потом и полезло в голову что попало, никогда не бывалое. Только что ты все меня глазишь! «На старости лет, на старости лет...» <...>

14 июля 1944

<...> «Quand nous sommes seuls longtemps nous peuplons le vide de fantomes» — выдумываю рассказы больше всего поэтому.

Да, вот еще что: когда соберешься, напиши, напиши: был ли ты когда-нибудь на «Капустнике» Художественного Театра и не наврал ли я чего про этот «Капустник» в «Чистом понедельник»? Я на этих «Капустниках» никогда не был.

5 августа 1944

<...> Недавно была большая радость — письмо от отца Киприана. Это всегда радость, а на этот раз еще и с прибавкой. Целых четыре страницы (на машинке, кроме того) о моей книжке о Толстом, которая попала ему в руки недавно и о которой он написал очень, очень лестно. Много написал, в связи с Толстым, и о смерти, о теле — о таком, на что я не мог ответить ему письменно — по неумению писать о таких вещах и в надежде на встречу с ним осенью.

Храни Вас, дорогие мои, Божья Матерь, целуем Вас оба.
Твой Ив. Б.

4 ноября 1944

<...> Поздравляю с окончанием «Труда многолетнего». Дай Бог успеха! Но где будешь печатать? И вообще — где же мы теперь будем «появляться»? Ведь эмиграции больше нет и в возвращение из Америки и Марка и сотни прочих — не верю: может быть, они и мечтали, но теперь... Надеюсь, ты меня поймешь. — А появишься ли на французском? Думаю, что твой издатель уже не издает больше ничего. Ужасно буду рад, если ты и впрямь займешься моим родственником. Сколько у него чудесного! Недавно я кое-что записывал в своих заметках, вспоминал некоторые его стихи, и есть одна строка в этих записях точь-в-точь, как ты написал: «Сколько прекрасного у Жуковского! И всю жизнь чувствовал я некоторую обиду, что из тысячи образованных людей разве один знает, что *никакой он не Жуковский*, а Бунин!» И дальше:

Зачем душа в тот край стремится,
Где были дни, каких уж нет?

«Вечное человеческое страдание! И мое постоянное теперешнее. Недаром есть даже молитва об избавлении от воспоминаний!»

<...>

15 ноября 1944

<...> Да, милые, Николай Митрич, потом приглашение меня в Ниццу, о котором я Вам писал... Сюжет для небольшого рассказа, как сказано у Чехова! Воображаю, что пережил Митрич, — по крайней мере, в первое десятилетие тех, кои теперь увенчали его! — ну, да обо всем этом как-нибудь потом, сейчас не время... Опять порадовался, что ты взялся, Борис, за Жуковского. Напиши, пожалуйста!!! Только что ж ты говоришь только «замечательный человек»? А поэт?

Уже утомившийся день
Склонился в багряные воды,
Темнеют лазурные своды,
Прохладная стелется тень —
И ночь молчаливая мирно
Прошла по дороге эфирной,
И Геспер летит перед ней
С прекрасной звездой своей...

«Я ненавижу человечество...» Да как же *все-таки* ненавидеть его, если оно дает и это? И еще столько всего прочего — вспомника! Ах, до чего *и прекрасен* человек!

Целую Вас, дорогие мои.
Ваш Ив. Б.

2 декабря 1944

<...> Посылаю тебе на память «Поздний час», дорогой Борис, мой теперешний «единственный читатель», — помнишь Пушкина, так жестоко оскорбившего Анну Бунину? —

цензурный председатель
Хвостова, Буниной единственный читатель...

Получил твое письмо о «Мистрале», — паки и паки благодарю и рад, что и «Мистраль» понравился. Отвечу подробнее на днях. Нынче уж слишком слаб. (Обед: по 4 холодных картошки). <...>

21 января 1945

<...> Насчет Шмудевича скажу тоже кратко — я эту наглую замоскворецкую стерву просто терпеть не могу за его подхалимную морду прежде всего, за хамскую спесь, за самомнение, за то, что он оказался совершенным скотом, за все, что я для него сделал, вытащив его из Берлина, приютив на Villa Montfleur, где он

однажды орал на меня, будто я «подложил ему свинью» в Академии, а когда Вера вмешалась в разговор, заорал на нее: «Вы-то не лезьте в разговор, я не с вами разговариваю!» (Кстати, — «подложить свинью»: дорого бы я дал теперь, если бы кто-нибудь подложил мне свинью!) Дальше писать буквально не могу — так больно рукам. Спасибо Вам обоим, милые, за добрые чувства ко мне, коими опять полно твое письмо, дорогой старушек.

Твой действительно вполне безземельный Иоанн. <...>

26 февраля 1945

<...>А вчера в 6 часов Алешу сожгли — осталась только кучка пепла — больше *ничего* не осталось от него, т. е. от его живого существа, ни в Москве, ни во всем мире. О, понять, постигнуть это — нет совершенно никаких сил. <...>

Р. Р. S. В кремлевскую стену вмуровать его все-таки, кажется, не удостоили.

10 октября 1946

Милый друг, был у меня Бахрах с твоей книгой «Современных записок». Прости, пожалуйста, — задержал ее у себя, очень хотелось почитать (на днях привезу ее тебе). Прочитал — сколько огорчений! Сколько истинно ужасных стихов! До чего *отвратительна* всячески Цветаева! Какой мошенник и словоблуд (часто просто косноязычный) Сири́н («Фиала»)! Чего стоит эта одна пошлость — «Фиала»! А ты отлично написал, но перехвалил и как человека и как поэта Бальмонта. Ведь его вечная изломанность, «сладкозвучность» и т. д. тоже ужасная пошлость. Целую вас.

Твой Ив.

30 апреля 1947

<...> Прочел 2 номера «Русской мысли», радуясь старой орфографии, дивясь, что опять появился Горкин, — и вялости статей: не решился дать в морду даже прохвосту Уэллесу! <...> Интересно о Тургеневе и Репине Зеелера, чудесен твой отрывок, Борис. Узнаю эту Элли! <...>

15 января 1948

Дорогой Борис, не понимаю, почему ты не понимаешь моего «поступка» (хотя, право, это слово уж очень сильно!), и никак не

согласен с тобой, что «впечатление от него, *всеобщее*, было то, что я поддержал советских и советофильствующих», оно было, очевидно, только в Вашем кружке, но и то мне удивительно, ведь в моем письме было сказано: «исключительно в силу этого обстоятельства», т. е. «никогда не бывая на заседаниях Союза и не принимая никакого участия в его скандалах и решениях, я не хочу нести за них никакой ответственности, которая все-таки может как-то падать на меня», — я не написал этого Вам только потому, что думал, что это и без того понятно — что ж тут разжевывать, Вы не дети! Но в моем ответе Марье Самойловне на ее несчастное письмо я сказал: «Можно спросить: почему же я не ушел из Союза давным-давно? Да просто потому, что прежде жизнь Союза текла мирно, буднично, а с некоторого времени пошли какие-то бурные заседания, какие-то распри, изменения устава, начался его распад, превращение в кучку сотрудников “Русской мысли”, среди которых блистает чуть не в каждом номере Шмелев, участник парижских молебнов о даровании победы Гитлеру... Мне вообще теперь не до Союзов и всяких политиканств, я всегда был чужд всему подобному, теперь особенно: я давно тяжело болен...» и т. д. И еще: «Я отверг все московские золотые горы, которые мне предлагали, взял десятилетний эмигрантский паспорт — и вот вдруг: “Вы с теми, кто взял советские паспорта...”».

И еще так я отвечал М. С-не: «Когда представитель тех многочисленных членов Союза, что составили (а потом напечатали) свое коллективное заявление о своем выходе из Союза после исключения из него «советских» граждан, явился ко мне и предложил мне присоединиться к их заявлению, я присоединиться твердо отказался, сказавши, что отказываюсь как раз потому, что *считаю неестественным соединение в Союзе эмигрантов и “советских” подданных*, меж которыми есть и такие журналисты, что по своим убеждениям или по обязанностям то и дело всячески хулят, порочат в своей парижской печати эмигрантов». Как же после этого могло быть *всеобщим* «впечатление», о котором ты пишешь? Мои слова этому представителю, конечно, стали очень скоро известны очень многим. Что касается *других*, вышедших из Союза после этой истории с «советскими» гражданами, то и среди них было немало таких, что ушли вовсе не потому, что они хотели «поддержать советских и советофильствующих». А, например, про Веру и говорить нечего. Ты не можешь не знать, что она осталась в Эмигрантской Церкви, что ее убеждения уж никак не «советофильские», — она говорит, что *ушла* потому, что ей стало «совершенно невозможно оставаться в Союзе после того,

что делалось в нем на двух последних заседаниях», и прибавляет: «Да и сам Борис сказал мне 24 мая, что он *против* исключения тех, у кого советские паспорта...»

Думаю, что ты и М. С-не писал о моем «попункте» в том же духе, как мне в этом последнем, нынешнем письме, и тем способствовал ее неумеренному, опрометчивому письму ко мне, которым она столь многих восстановила против себя и в Париже и в Нью-Йорке — имею уже много сведений об этом. <...>

Но пора поставить точку и в этом письме и во всей истории этой, уже весьма надоевшей мне, — кончаю.

Про Шмулевича знаю уже давно. В этом случае даже завидую — молодец! Будь здоров, целую Вас обоих.

Твой Ив.

29 января 1948

Дорогой Борис, ты пишешь: «Все выходит, что ты отделению эмигрантов от советских сочувствуешь... а от нас ушел. Не понимаю...» Но я уже объяснял тебе, почему ушел, — не желаю нести все-таки некоторой ответственности — в глазах «общественности» — за Ваши «бури» и решения. Затем: «Ты, по-видимому, думаешь, что на письмо М. С-ны к тебе есть доля моего влияния. Это совершенно неверно». <...> — но что меня действительно *взбесило*, так это то, что я узнал вчера из письма Михайлова: оказывается, в Париже пресерьезно многие думали, в том числе и Ельяшевич, — что мне от М. С-ны и при ее участии от «всей» Америки просто золотые реки текли и *что* теперь им конец и я погиб! Более дикой х.....ы и вообразить себе невозможно! *Как все*, и даже меньше других, я получал от частных лиц обычные посылочки, получал кое-какие от Литературного фонда через Долгополова, больше всего получал от Марка Александровича, а что до долларов, то тут М. С-на была только моим «кассиром»: в ее «кассу» поступало то (чрезвычайно скудное), что мне причиталось за мои рассказы в «Новом журнале», поступало то, что было собрано (и весьма, весьма не густо!) в дни моего 75-летия при продаже издания брошюрой моего «Речного трактира», и еще кое-какие маленькие случайные, крайне редкие пожертвования кое от кого: *вот и все*, все! Теперь мне «бойкот»! Опять ерунда, х.....а! Доллары уже прожиты, о новых я и не мечтал, а посылочки, верно, будут, будет в них и горох и чечевица, за которую я, однако, «первородство» не продавал и не продам.

Твой Ив.

P. S. Телеграммой от 7-го января М. С. обещала дать «*explication*» на мой ответ ей. А донныне молчит.

9 августа 1948

Спасибо Вам всем, милые, за добрые чувства. Пишу еще в постели — нынче месяц, как я в ней. Был *очень* плох, чуть не на пороге смерти — воспаление в легком. Теперь уже дней 10 сухой плеврит, изредка маленький жар. Слабость несказанная. Всех Вас целую.

Ив. Б.

Мы были у Вас в Пюжете *в июле 1926 года* (28 июля по новому стилю).

ИЗ ПИСЕМ К М. А. АЛДАНОВУ

20 марта 1941

Дорогой друг, сейчас получил через Полонских Ваше письмо (единственное за все время) от 3 фев<аля> (а ныне 20 марта). Планов у меня никаких, ибо с чем же мне ехать куда-нибудь? Клянусь Вам, я так нищ сейчас, как никогда в жизни не был, и смотрю даже на самое близкое будущее как на форменную голодную смерть. От одной брюквы с одной солью и горячей водой (супом!), без капли масла, я становлюсь худ, как Ганди, а у В. Н. летают «мухи» перед глазами. Дом ледяной, мы его не топим, для кухни осталось сто полен — дров покупать нам не на что. А тут еще требуют налога за этот дом чуть не две тысячи. А что будет со мной, если я уеду? Вот даже Вы, Вы пока заработали всего 125 дол.! А что я могу? Я все-таки не ожидал даже подобия того зверского равнодушия, которое вижу к себе от Америки. Кому только не написал, ни доллара ниоткуда! Писал Назарову — ужели он не мог бы написать в газетах обо мне? Если бы написал, был бы большой толчок: погибает Нобел<евский> лауреат! Молю Вас — скажите ему. От Толстой получил всего один раз. Зачем, зачем она шлет через По? Книгу свою новую высылаю, журналу буду рад ужасно.

Целую Вас и Т. М. От всех поклоны.

И. Б.

16 апреля 1941

Дорогой Марк Александрович, недавно я писал Вам 2 cartes postales (avions-recom.), извещающая Вас, что рукопись книги моих новых рассказов Вам отправлена. Я писал Вам, что в ней три отдела (I-II-III) и что второй отдел кончается рассказом «Натали»:

этот рассказ я посылаю Вам нынче в *исправленном виде*; — тот список, что послан Вам 8 апреля, есть почти черновик, очень прошу Вас поэтому выкинуть его из книги (не читая!) и заменить этим новым списком. <...>

6 мая 1941

Дорогой Марк Александрович <...>.

«Темные аллеи» Вы теперь, верно, уже получили <...>.

Повторяю: эту книгу я послал Вам прежде всего потому, что мне часто приходит в голову: мало ли что может со мной случиться, пусть будет один экземпляр моей новой (и, верно, последней) книги в сохранности, в надежных руках — для потомства. А на печатание ее теперь, даже частично, я мало надеюсь: ведь Вы и сами еще не уверены, будет ли журнал и сколько времени он просуществует; это раз, а второе то, что опять-таки я Вам уже писал: если журнал и будет, возможно ли мое участие в нем? Вы говорите об этом как о возможном. Но не ошибаетесь ли Вы, подумали ли об этом серьезно, т. е. не упуская из виду мои обстоятельства? Ведь журнал не альманах.

Словом, я послал Вам книгу и в этом смысле *на всякий случай*. *На всякий случай* посылаю Вам и список тех поправок и сокращений, смягчений (ежели окажется в них крайняя необходимость), кои будьте добры внести в мои рассказы, если им будет суждено «появиться в свет». (Вы мне писали о строгости нравов у вас — ужели они, правда, так строги? И даже среди русских читателей? Как же тогда читали у Вас «Любовника Лэди Ч.»?) *Если что-нибудь напечатаете, молю Вас о редакторской смелости* — если кто будет меня ругать, черт с ним. Но за всем тем поступайте как хотите, *не запрашивая меня*, если эта смелость будет для Вас *невозможна* и ответственность будет падать *на Вас*.

Теперь о нашей поездке. Недели 2 тому назад я получил письмо от 19 марта: «Emergency Rescue Committee, 122 East 42nd Street, New York, N. Y. Dear Mr. Bunin, Mr. Herman Kesten has asked me to give you the good news to tell you that your application for a Special Visa has been sent on to Washington on March 6th 1941. We trust that you will receive your visa very shortly». Подписано: Lotta Loeb. Case Department.

Что же мне теперь делать? Очень, очень благодарю Вас за Ваши заботы и прошу передать благодарность Александру Федоровичу. Но — как решиться ехать! Доехать, как Вы говорите, мы можем. Но опять, опять что дальше? Вы пишете: «Погибнуть с го-

лоду Вам не дадут». Да, в буквальном смысле слова «погибнуть с голода», м. б., не дадут. Но от нищеты, всяческого мизера, унижений, вечной неопределенности? Месяца два-три будут помогать, заботиться, а дальше бросят, забудут — в этом я твердо уверен. Что же до заработка, то Вы сами говорите: «будут случайные и небольшие — чтение, продажа книги, рассказа...». Но сколько же раз буду я читать? В первый год, один раз... м. б.. и во второй еще раз... а дальше конец. И рассказы, книги я не могу печь без конца — главное же, продавать их.

И самое главное: очень уж не молод я, дорогой друг, и В. Н. тоже, очень больная и слабая В. Н. Вот даже частность: Вы пишете, что «на первое время предоставят нам комнаты в имении, в 45 м. от Н. Й.» А каково в наши годы жить даже «первое время» где-то у чужих людей, из милости, подлаживаясь к чужой жизни — и т. д.! Короче говоря — ни на что сейчас я не могу решиться. Визу иметь на всякий крайний случай — (который, конечно, вполне возможен) буду рад. И если ее длительность будет хоть полугодовая, может быть, мы ею воспользуемся.

Целую Вас и дороую Т. М. с большой любовью и грустью.

Поклон друзьям.

Ваш Ив. Бунин.

28 июля 1942

Tres cher ami,

je vous prie de faire tout possible pour obtenir visas pour moi et Vera. Je vous embrasse, vous et Tatiana Marcovna.

Votre

J. Bounin.

8 августа 1942

Наконец-то письмо от Вас, дорогой друг. Да, я оч<ень> ошибся, что не поехал. Недели 2 тому назад послал Вам открытку — av<ion> и депешу — просьбы о визах мне и В. Н. Она так несказанно худа и слаба от язвы в желудке и голода, что твердит, что не доедет. <...>

28 мая 1945

<...> Повторяю то, что уже писал Вам об Америке: чем же мы там будем жить? Совершенно не представляю себе! Подаяниями! Но какими? Очевидно, совершенно нищенскими, а нищенство для нас, при нашей слабости, больше уже не под силу. А глав-

ное — сколько времени будут длиться эти подавания? Месяца 2, 3? А дальше что? Но и тут ждет нас тоже нищенское, мучительное, тревожное существование. Так что, как никак, остается одно: домой. Этого, как слышно, очень хотят и сулят золотые горы во всех смыслах. Но как на это решиться? Подожду, подумаю... хотя, повторяю, что же делать иначе? <...>

16 августа 1945

Милый, дорогой Марк Александрович <...>.

На днях был у меня только что приехавший из Америки И. Л. Френкель (адвокат, милейший человек), привез вести о многих из Вас — и мою книжку, составленную оч^{ень} непонятно для меня. Очень жалею, что решился на это издание! А тут еще «послесловие» издательства: «остальные рассказы издадим второй книгой». Избавь Бог, очень боюсь — а вдруг и правда издадут! Ни в каком случае не хочу этого! <...>

17 августа 1945

<...> Вы как-нибудь упрекаете меня, что я мало даю для «Нов^{ого} ж^{урнала}». Но почему же из всех многих рассказов, что я послал Вам уже года три тому назад, редакция взяла всего 4 рассказа? Я только недавно узнал это и, по правде сказать, слегка уязвлен. И даже не слегка.

Что за странный человек М. Чехов! Много очень хороших страниц в его воспоминаниях, но очень много и вполне дурацких, наивных и таких, что не знаешь: жулик или сумасшедший? Знаю, что был одно время и впрямь сумасшедший, но ведь был, а не есть. К чему журнал завел эту чересполосицу — то старое правопписание, то это «новое», заборно-вульгарное! Для кого это последнее? <...>

3 сентября 1945

Милый, дорогой Марк Александрович, которого я, вероятно, уже больше никогда не увижу! — нынче Ваше письмо к В. Н. от 28-го авг^{уста}. Вы пишете, что «вчера» Вы написали мне, а Т. М. — В. Н-е: эти письма, д. б., пропали. Чрезвычайно благодарю Вас за доброе желание помочь мне устройством моего ужасного «юбилея» и, разумеется, ничего не имею против Вашего плана обратиться к нью-йоркскому комитету нобелевск^{их} лауреатов, — обращайтесь вообще куда Вам угодно. Очень огорчен судьбой «Мадрида» и «Вт^{орого} кофейника» — не понимаю,

что в них похабного, — они так чисты, простодушны, «героини» их, по-моему, просто очаровательны — и что это за «богатые дамы», кои вообще гневаются на меня? — ведь *все то, что у Вас было напечатано*, так невинно! И уж совсем не понимаю, почему вдова и дочери Шаляпина могут обидеться на мою архиневинную выдумку, что Ш<аляпин> заехал с Коров<иным> в тот извозчий трактир похмелиться, где служила «героиня» «Вт<орого> кофейника», и там шутя кричал?! Вы говорите, что «именно вообще лучше было бы выпустить», — никак не могу с этим согласиться; и не выпускайте, пожалуйста, если все-таки решитесь печатать эти два рассказа (кои, конечно, гораздо лучше «Дубков» и «Реч<ного> трактира»). Напишите все-таки мне, пожалуйста, решитесь ли? т. е. после «юбилея», ежели таковой состоится...

Написал последн<ие> слова, этот вопрос с некоторым даже ужасом: да что же это за институтские нравы у Вас?! и как же это Вы все с ними все-таки считаетесь?! (Терпеть не могу этого соединения — вопросительного знака с восклицательным — но не могу не употребить его сейчас!) Вообще, на редкость грустна судьба моей последней книги (она, кстати сказать, теперь стала вдвое больше того, что Вы знаете) — очевидно, что напечатать ее по-русски мог бы я все-таки только во Франции, если бы была тому материальная возможность; но Вы, верно, знаете, что об этом и мечтать нельзя — на это нужны совершенно дикие деньги! Я продал ее одному новому французскому издательству, но Вы знаете, что такое переводы и что такое французский писатель! <...>

4 сентября 1945

<...> Об издании моих сочинений Академией наук было в газетах. Правда ли это, не знаю — знаю одно: не покупала у меня, не платила и, если издаст, то, конечно, не заплатит. Ведь не получал же я ничего (и, конечно, ничего не получу) за все то, что было уже издано из моих писаний в России (да еще в каком количестве экз<емпляров>!) А получить бы следовало (тем более — простите за нескромность, не для хвастовства говорю — что имел много доказательств последнее время о даже неумеренном восхищении мною читателей из России).

Целую Вас и руку Т. М.

Ваш Ив. Бунин

Р. С. Да, Зин<аида> Ник<олаевна> при смерти... Прости меня Бог, что думаю об этом сейчас, но не могу не думать: чего только не останется после нее в смысле ее гадючьих дневников насчет многих, многих из нас!

11 октября 1945

Дорогие Татьяна Марковна и Марк Александрович, горячо благодарим Вас за поздравление (с моим столь грустным «юбилеем»!) и за хлопоты обо мне, сделайте одолжение передать мою благодарность и всем, кто составляет комитет по этому поводу. За «роскошное» издание «Речного трактира» немножко стыжусь — в нем кое-что неплохо насчет Волги, вообще насчет «святой Руси», но ведь все-таки это не лучший «перл» в моей «короне», хотя как раз этот «трактир» принес мне много похвал (я читал его тут многим).

<...> на днях прочел в московской «Литературной газете» о выходе в свет каких-то моих «избранных» произведений. Было в «советских» газетах (весной) еще известие, что выходит академическое издание моих сочинений. Это меня ужасно взволновало и продолжает волновать: навалят в это издание Бог знает что, без разбору, перемешают путное с ничтожным, ранним — и т. д., словом, сделают то, от чего многие, так уже изданные, в гробу переворачиваются! На днях поэт Корвин-Пиотровский позвал меня к себе на «литературную чашку чаю», я согласился и поехал (Пиотровский очень способствовал освобождению моей квартиры от неких Графов) — и застал у него С. К. Маковского, Ладинского, Ставрова... а затем приехал вдруг советский консул Емельянов и советник посольства Гузовский. Все, слава Богу, сошло хорошо — ни одного «политического» слова — любезный безразличный разговор о том, о сем... Но я все-таки не вытерпел, спросил Гузовского, как и с кем связаться мне с Академией насчет этого академического издания, и он обещал мне все это разузнать и известить меня об этом. Думаю, впрочем, что Академия вряд ли пожелает со мной разговаривать.

24 октября 1945

<...> Насчет Шалап<ина> и Коровина все-таки дивлюсь: да почему же Марии Вал<ентиновне> может быть неприятна моя столь невинная (хотя и вполне правдоподобная) выдумка, что Ш<аляпин> с К<оровиным> шутя потребовали, чтобы им подавала чай «Катенька», а «не сукин сын половой»? А еще больше дивлюсь на страх за д-ра Голоушева, умершего (и не оставившего ни жены ни детей) в большой старости 26 лет тому назад! Что ж тут дурного, что он «Катеньку пустил по рукам», т. е. рекомендовал в натурщицы художникам? Нет, неблагополучно у Вас в Америке по части щепетильности!

26 декабря 1945

<...> Затем сообщаю то, что, повторяю, Вы, м. б., уже знаете от Полонских и о чем я, м. б., Вам уже писал (не помню точно — очень уж был не в себе от температуры, от болезни, начавшейся чуть не 2 месяца тому назад): была телеграмма из Москвы на имя писательницы Триоле (с которой познакомился, побывав у нее, ибо она, возвратясь из Москвы, привезла мне небольшое письмо от писателя Телешова) — эту телеграмму она передала мне по телефону и в этой телегр<амме> была просьба прислать «не медля» сборник моих последних рассказов; я тогда отправился к Борису Данил<овичу> Михайлову, заведующему здесь «бюро прессы» по назначению Москвы, и попросил его запросить Москву, зачем и кому именно нужны мои рассказы (которые я все-таки уже продал для издания О. Г. Зелюку, кстати сказать); недели через три пришел ответ из Москвы — там желают издать эти мои рассказы (только для России) и еще что-нибудь из моих последних книг (что привело Полонских в искренний восторг), и я попросил Бахраха отвезти Михайлову рукопись моих рассказов ($\frac{3}{4}$ их), «Освобождение Толстого» и «Жизнь Арсеньева», а также письмо к Телешову: вот, мол, посылаю, по желанию Москвы, кое-что из моих последних писаний «для осведомления», не будучи вовсе уверен, что это может быть интересно для Вас, ибо «я для вас человек уже “исторический”, могу быть интересен разве только с этой точки зрения или с точки зрения искусства». Почти в то же время я получил от А. А. Гузовского, старшего советника русского посольства в Париже, извещение, что г. посол желает со мной познакомиться, и за мной был прислан из посольства автомобиль с господином, уже лично передавшим мне это приглашение, и я поехал в 5 ч. дня и познакомился с г. послом, вел с ним в течение полчаса совершенно не политическую беседу — только светскую — и откланялся, после чего заболел уже основательно, слег — и все имел слухи, будто я потому был в посольстве, что собираюсь в Россию... <...>

2 января 1946

<...> Ужасно тронут Вашей похвалой «Речн<ому> трактиру» — и рад ей, ибо все еще, повторяю, «сочиненьица мои занимают меня», как сказал когда-то Петрарка. (А на Волге я был всего один раз в жизни — плыл(?) от Саратова до Ярославля и «речных трактиров» никогда не видал. Верно, они там никогда и не назывались так, — скорее, «Поплавок». Но это слово против-

ное.) «Р<ечной> т<рактир>» нравится даже моим «нынешним политическим недругам»? Кто же это, дорогой мой? Искренне говорю — не понимаю. Софья Юльевна и ее новые друзья? Иных не вижу. Ужели Марк Вен<иаминович>, который будто бы сказал про меня (весьма обидно и безмерно несправедливо), будто я не знаю, «что начать — ложиться спать или вставать»? Роман Триоле не читал — думал, что это плохо (как то, что читал прошлой зимой — «Alexis Slavsky»), хоть и «Земляничка», и «Таити» мне когда-то весьма понравились; а что она умна и очень, очень показалась мне мила всячески при нашем знакомстве с ней (когда я месяца два тому назад ездил к ней за письмом Телешова, которое она привезла мне из Москвы), я Вам об этом, кажется, уже писал. Книгу ее высылаю Вам завтра-послезавтра — как только найду. Борису Конст<антиновичу> скажу тоже не нынче-завтра, что Вы ему скоро напишете. Вижу его послед<нее> время редко — то он был болен, то я. В. Н. тоже все кашляет, боюсь за нее ужасно — вот-вот жестоко простудится!

Вместе с ней обнимаю Вас обоих.

Ваш Ив. Бунин

P. S.: Найти в Париже конверт — большая редкость!

23 января 1946

<...> Визиту моему придано до смешного большое значение: был приглашен, отказаться *не мог*, поехал, никаких целей не преследуя, вернулся через час домой — и все... *Ехать «домой» не собирался и не собираюсь.*

Открытка мне от Телешова из Москвы: «Государств<енное> издательство печатает твою книгу избранных произв<едений>. Листов в 25».

Это такой ужас, которому имени нет! Ведь я еще жив! Но вот, без спросу, не советуясь со мной, — выбирая по своему вкусу, беря старые тексты... Дикий разбой! <...>

14 февраля 1946

<...> В Москву я отправил 2 больших письма — Телешову и Государств<енному> издательству — написал не в меру резко, что именно там выбрали из меня? И какие тексты? «Огромное количество экземпляров» меня ничуть не радует, я вне себя от горя. <...>

15 февраля 1946

<...> Перечитываю кое-какие разрозненные кн<иги> «Совр<е-
менных> з<аписок>», — между прочим, с *большим* удовольст-
в<ием> «Начало конца». И дикий, развратный «Дар», ругаясь
матерно. Перечитал еще «Дорогу» Иванникова. *Просто удиви-
тельный* талант! Где-то он теперь?

26 февраля 1946

<...> Федин (который, хотя и не знаком со мной, прислал мне
«самый сердечный привет») сказал <...> что мои писания изда-
ются сразу и в Москве и в Петербурге — по 80 печатных листов
каждое издание! Я убежден, что я за все за это и гроша не получу,
но черт с ним, с грошом — ужасно то, повторяю, что мною распо-
ряжаются как своими собственными штанами и без всякого мое-
го ведома. <...>

12 марта 1946

<...> «Нов<ый> журн<ал>» должен, наконец, дать очень ос-
новательно статью насчет того безобразия, которое называется
новой русск<ой> орфографией. «Война и миръ» — вот я, напр.,
впервые читаю такой роман и как могу решить: «В<ойна> и
миръ» или «В<ойна> и мiръ»? и т. д. и т. д.

Яков Б<орисович>, наверно, Вам писал, что Федин сказал ему,
что даже не одно печатается издание моих избр<анных> сочине-
ний, а два — в Москве и в Птб. — совсем пропал я, если даже за-
платят что-нибудь (во что я почти совсем не верю) — ведь все-таки
не в деньгах дело, а в том, *что* выберут и *как* будут сокращать,
выкидывать им неподходящее! <...>

Еще моя острота: говорю, что горячо завидую Ною: пережил
всего один потоп и был тогда в мире всего один Хам. <...>

1 апреля 1946

Дорогая Татьяна Марковна, очень прошу Вас... не падать — и
поскорее приехать в Париж. О том же, т. е. о скорейшем приезде,
прошу и Вас, дорогой Марк Александрович, — так хочется
видеть Вас обоих! Кроме того — ведь я вот-вот уеду на Кавказ...
Впрочем, я это сейчас выдумал — вспомнил, что нынче первое
апреля. А дальше идет уже правда: телеграмма из Москвы! «Se-
lon votre désir éditions Littéraire Etat ont suspendu préparation
recueil vos oeuvres stop Mikhaïl Apeltine vice président commis-

sion étrangère union écrivains soviétiques 12 Kouznetski Most Moscou». Тотчас написал письмо Аппетину (завтра пойдет с дипломатической почтой) — запросил, как это понимать: «suspendu» вообще, на неопределенный срок, или же до выяснения моих пожеланий насчет выбора моих oeuvres и текста их? — Забыл написать Вам о Ное еще и то, что особенно завидую тому, как великолепно был он обеспечен, помимо всего прочего, пропитанием: подумайте — 7 пар чистых и 7 нечистых, среди которых были, конечно, и свиньи, одно из самых любимых моих кушаний (в виде колбас, сосисок, жареной «буженины») — это тебе не Грасс и не Париж! И вина было вдоволь!

«Русский сборник» выйдет в конце апреля... предисловие Адамовича: «Появление первой книги... совпадает с юбилеями И. А. Бунина и А. Н. Творчеству славных юбиляров посвящены в книге статьи». Дальше — мой портрет, статейка Адамовича обо мне, мой рассказ («Зойка и Валерия»), Ремизов, Тэффи, Зуров, Ладинский, Пантелеймонов (очень милый сибирский рассказ — вместо его жалкой статьи «Война и народы»), потом воспоминания Бенуа, статья о нем С. Маковского, статья Бердяева (невинная, иначе я ничего не дал бы в сборник) — и куча стихов. Сборник моих рассказов Зелюк печатает в Швейцарии, выйдет, вероятно, в начале мая. Я туда поместил почти все лучшее — уж не знаю, что послать в «Нов<ый> ж<урнал>»? Что-нибудь все-таки пошлю — не нынче-завтра. Дней десять т. н. был у Триоле — попросила повидаться («хочу дать Вам несколько сведений насчет вообще издания книг в Москве»), прислала за мной собственную машину, — да-с! — посидел у нее, познакомился с Арагоном — небольшой, сухой телом, уже с проседью, довольно сносно говорит по-русски... <...>

10 мая 1946

<...> «Галя» без «эротики» никуда не годится, поэтому лучше не печатайте. Ах, уж эти болваны и лицемеры... Неужели после «Истоков» замолкаете? Это будет оч<ень> грустно! <...>

Впал ли я «в немилость» — не знаю. После той телеграммы и моего ответа на нее нет больше никакого движения дела, молчание. <...>

27 июня 1946

Дорогой Марк Александрович,

так давно от Вас нет ни строчки, что начинаем беспокоиться — здоровы ли Вы и Татьяна Марковна? Напишите, пожалуйста. И

еще о том — приедете ли или нет? Все это во-первых, а во-вторых, спешу Вам сказать, что сегодня меня просто на удивление дико оболгали — я давал этот «интервью» (всего одну фразу) при свидетелях, но это не помешало оболгать меня — и исказить некоторые мои слова, сказанные уже в частной беседе: я, напр., говорил: «на завтраке некоторые напились на радостях» — а в газете: «мы выпили на радости» — и т. д.

Целуем Вас и Татьяну Марковну сердечно.
Ваш Ив. Бунин.

Бесстыдство этой стервозной газеты дошло до того, что напечатали, будто я послал «привет и пожелание успеха ей».

Я очень болен и только потому имел слабость принять этого с. с. редактора. И хуже всего, что ведь и думать нечего напечатать опровержение.

1 июля 1946

Письмо в редакцию «Советского патриота»

Позвольте заявить в ближайшем номере Вашей газеты мой протест по поводу интервью со мной, напечатанного в «Сов<етском> п<атриоте>» от 28 июня. Я твердо и при свидетелях заявил г. В. Курилову, автору этого интервью, что даю ему право опубликовать только одну мою фразу, выражающую только одно — мою скромную мысль о значительности для русской эмиграции указа 14 июня. Несмотря на это, в «Сов<етском> п<атриоте>» напечатано было нечто совершенно иное: описание моего то якобы «скорбного», то якобы «взволнованного» лица и целый набор восторженных фраз, которых я и не думал произносить, — вплоть до заключительной фразы всего этого интервью, резко исказившего выдуманскими за меня словами даже тот частный и краткий разговор, на который я был вызван моим собеседником.

Ив. Бунин. 30 июня 1946 г.

Вот, дорогой Марк Александрович, то, что я отправил в ред<акцию> «Сов<етского> п<атриота>». Если, паче всякого чаяния, письмо это не будет напечатано, его напечатает Ступницкий, и я обращусь во франц<узский> суд, на что я, по словам Ступницкого, имею полное право: я этого дела так не оставляю, ибо более наглого и дикого поведения, чем поведение «С<оветского> п<атриота>», я не знаю. Моя вина, однако, то, что я принял сотрудника этой архистервозной газеты; но я как-то не подумал об этом, а главное — сотрудник этот — старый, близкий знакомый Полонских, очень милый и застенчивый человек. И вот вышло то, что не только попался, осрамился я, но и он, Курилов: позавчера я обедал у Полонских, и тут пришел этот Кури-

лов — и при Полонских и при других гостях заявил, что его текст — текст его интервью — вдребезги был искажен и расширен в редакции (по его словам, скорее всего Румановым, совершенно *падшим* стариком). Читали ли Вы, дорогой Марк Александрович, это гнусное интервью? «Сов<етское> правительство поступило мудро и благородно в отношении нас — эмигрантов...» «*Мудро и благородно...* в отношении нас...» — Каково!! Мне и не снилось это говорить! «Мы выпили на радости за указ...». А я, в этой частной беседе, сказал так, смеясь: «На завтраке в честь Борейши русачки-наборщики клюкнули “на радостях” выше всякой меры...». Не говорил я ни слова об «отрыве от родины, который не проходит даром»; не говорил: «Молодым — прямая дорога на родину»; не посылал никаких приветствий Одинцу — и т. д. и т. д. Целую Вас и руку дорогой Татьяны Марковны. Ваш Ив. Б.

Прошу «Нов<ое> рус<ское> слово» не «делать бума» — мне это будет *опасно*. <...>

5 июля 1946

<...> И еще вот что: никакой Вишняк не имеет права меня упрекать в чем бы то ни было: я сделал то, что, не знаю, как бы другой сделал — истинно, в самые последние годы, а, м. б, дни своей жизни, нищий, старый, отказался от большого богатства, от всяческих больших «возможностей» и т. д. и т. д. — «комментарии излишни». <...>

31 июля, 1 августа 1947

Дорогой Марк Александрович, ставя в свое время на карту нищеты и преждевременной гибели своей от всего сопряженного с этой нищетой свой отказ от возвращения «домой», я мысленно перечислял множество причин для этого отказа и среди этого множества мелькала, помню, и такая мысль: «как! и М. А. я тогда уже никогда больше не увижу и даже письма никогда от него не получу и сам ему никогда не напишу!!». Из этого следует, что я Вас действительно люблю (и, конечно, больше, чем Вы меня, чему я, кстати сказать, даже радуюсь, как частенько в подобных случаях, — радуюсь потому, что всегда боюсь, что кто-нибудь несколько любящий меня вдруг во мне разочаруется, — так пусть же поменьше любит меня). Следует из этого, конечно, и то, что я истинно рад, что Вы уже совсем выздоровели, смущаюсь только

тем, что Вы читаете и пишете «как до болезни», хотя Вам это не велено, а кроме того, не воздерживаетесь и от арманьяка, должно быть. («Чадо мое, ужели не помнишь, как мерзок Богу издающий зловоние пьяница?»). Рад и тому, что рассказ Ваш одобрен и принят Карповичем и предвкушаю удовольствие от чтения его, а что до «философской» книги Вашей, то все еще томлюсь загадочностью ее, утешаюсь лишь надеждой, что она, верно, все-таки не вполне философская. «Мережковский слышал, как Боборыкин в присутствии Тургенева» — это, конечно, ерунда. Но что Б<оборыкин> хлопал себя по ляжкам и говорил, что он пишет «много и хорошо», очень похоже на Б<оборыкина>: он был милый и веселый человек, любил шутить. «Разбойника» Лескова не помню, — верно, не читал, — непременно достану и прочту (или перечту). Да, очень неровный был писатель, даже и в самых лучших своих вещах почти всегда не в меру болтлив и с прочими недостатками, а все-таки *редкий*. Аксаков, конечно, изумителен каким-то совсем особым очарованием. Страшно буду рад, если перечитаете меня, — убежден, что Ваше мнение обо мне повысится, — Вы, напр., м. б., *впервые* заметите, что я разнообразен как мало кто и — ни на кого не похож; но *горячо прошу, прямо умоляю не читать меня, если у Вас не будет собрания моих сочинений издания «Петрополиса»*, до всех других изданий ради Бога не касайтесь: я идиотичен, психопатичен насчет своих текстов — вспомню вдруг, например, что в таком-то рассказе моем не вычеркнуто в первом издании какое-нибудь лишнее, глупое слово — и готов повеситься, кричу, как Толстой, когда вспоминал что-нибудь неприятное из своих слов или поступков, на весь дом: а-а-а! <...>

Р. S. Я только что прочел книгу В. Ермилова (*В. Ермилов. Чехов. Молодая гвардия, 1946.*). Очень способный и ловкий с. с. — так обработал Ч<ехова>, столько сделал выписок из его произведений и писем, что Ч<ехов> оказался совершеннейший большевик и даже «буревестник», не хуже Горького, только другого склада. И, читая эти бесконечные и однообразнейшие выписки, все время удерживаешься от ненависти к Чехову. (Пьесы его мне всегда были почти ненавистны.) Ах, Толстой, Толстой! В феврале 1897 г. он был в Птб. и сказал Суворину («Дневник Суворина»): «Чайка» Чехова вздор, ничего не стоящий... «Чайка» очень плоха... Лучшее в ней — монолог писателя, это автобиографические черты, но в драме они ни к селу ни к городу. В «Моей жизни» Чехова герой читает столяру Островского, и столяр говорит: «Все может быть, все может быть». Если бы этому столяру прочесть «Чайку» он не сказал бы «все может быть».

За столяра Чехову ставлю 5 с плюсом. Толстому за все эти его слова 50 с плюсом; ведь даже это заметил и вспомнил: «Все может быть, все может быть».

Простите, что так грязно это письмо, — от жары пишу с трудом, бездарно, часто неточными словами и потому мараю.

23 августа 1947

<...> Вы пишете: «Что ж мне хвалить Вас!». Нет, хвалите, пожалуйста хвалите! Ужасно рад нравиться Вам! А то ведь, если хвалит Адамович, это пол-радости, $\frac{1}{4}$ радости — ведь он не читает меня, едва знает, да и какой-же он «любитель словесности», главное — художества (т. е. настоящего) — она ему нужна как прошлогодний снег! И так, низко и благодарно кланяюсь Вам. Что иногда, да даже и частенько, я «мрачен», это правда, но ведь не всегда, не всегда. Я сейчас, благодаря Вам, стал перечитывать свое «Собрание» (изд<ание> «Петрополиса»), кое-что правлю (чуть-чуть) и, поправив книжку, надписываю по-дурацки на ней: «Для нового издания!» — потому по-дурацки, что не видать мне как своих ушей этого нового издания при жизни (да и после смерти-то будет ли оно такое, какое мне было бы нужно: ведь где ж издадут, кроме Москвы, ну а Москва есть Москва, чтоб ей в тартарары провалиться!). Да, так вот я и хотел сказать: наряду с «мрачным» сколько я написал доброго, самого меня порой до слез трогающего! Впрочем, Вы и сами соглашаетесь, что я разнообразен. Насчет народного языка: хоть Вы и жили только в Волынской деревне, — и как жили, Бог мой! — *такой* писатель, как Вы, с таким удивительным чутьем, умом, талантом, конечно, не может не чувствовать правды и языка великорусского, и пейзажа, и всего прочего. И опять я рад Вашим словам об этом. Только я не понимаю, чему Вы дивитесь. Как я все это помню? Да это не память. Разве это память у Вас, когда Вам приходится говорить, напр., по-французски? Это в Вашем естестве. Так и это в моем естестве — и пейзаж, и язык, и все прочее — язык и мужицкий, и мещанский, и дворянский, и охотничий, и дурачков, и юродов, и нищих — как в Вас русский (и теперешний, и разных старинных людей Ваших романов, и французский, и английский). И клянусь Вам — никогда я ничего не записывал; последние годы немало записал кое-чего в записных книжках, но не для себя, а «для потомства» — жаль, что многое из народного и вообще прежнего языка и быта уже забыто, забывается; есть у меня и много других записей — лица, пейзажи, девочки, женщины, погода, сюжеты и черты рассказов, — которые, конечно, уже никогда не

будут написаны, — я, верно, «уже откупался», как говорил Толстой в свои последние годы про свое «художественное» (и, увы, все еще писал кое-что, что больно и совестно читать, — «от нее все качества», например), — но и тут: клянусь, что $\frac{9}{10}$ этого не с природы, а из вымыслов: лежишь, напр., читаешь — и вдруг ни с того ни с сего представишь себе что-нибудь, до дикости не связанное с тем, что читаешь и вообще со всем, что кругом. И опять, опять твержу (бесстыдно хвастаясь и, верно, уже будучи тем противен Вам): как $\frac{9}{10}$ *всего* написанного много на 99 процентов *выдуманно*, так и «Игнат», и «Хорошая жизнь» выдуманы: был, напр., у нас на деревне подросток пастух, про которого говорили, что он в поле на коров «лазит», — вот почти и вся правда, от которой пошла выдумка «Игната»; ходила к нам, «на барский двор», одна баба, жена мелкого деревенского торгаша (вся его лавка была в большом сундуке), женщина бойкая, пронзительная, говорливая, соединил я ее не то с Ельцом, не то с Ефремовым — отсюда и пошла «Хорошая жизнь»...

Почитал Лескова: да, крайне богатый, замечательный писатель, но никак, почти никогда (а, м. б., и никогда) не дающий чувства, что читаешь художественное (или, как в старину говорили, «поэтическое») произведение — вспомните-ка рядом с этим, напр., «Казачьи» или даже божественное «Путешествие в Арзрум», где ведь рассказывается только действительное, а меж тем...

Отзывом Тургенева о Дост<оевском> и Т<олстом> Вы меня все-таки поразили! Зависть? Вполне возможная, но ведь только к Т<олстому>, а не к Дост<оевскому>? Что до моего места в «Нов<ом> журнале» рядом с Дост<оевским> и Т<олстым>, то уступаю только Т<олстому>, а Достоевскому... са депан... <...>

2 сентября 1947

<...> Что новый роман Газданова «очень хорош», сомневаюсь — читал отрывки его. Вообще Г<азданов> молодец — навострился писать порядочно, но удивительно мертво, литературно, усыпительно-гладко-текуче и всегда похоже на перевод.

Будущий критик удивится, прочтя мое письмо к Вам, почему Бунин «точно огорчился от вопроса, писано ли им хоть что-нибудь с природы»? Удивится — не удивится, но это так: огорчаюсь. В молодости я очень огорчился слабости своей *выдумывать* темы рассказов, писал больше из того, что видел, или же был так лиричен, что часто начинал какой-нибудь рассказ, а дальше не знал, во что именно включить свою лирику, — сюжета не мог выду-

мать или выдумывал плохенький... А потом случилось нечто удивительное: воображение у меня стало развиваться «не по дням, а по часам», как говорится, выдумка стала необыкновенно легка, — один Бог знает, откуда она бралась, когда я брался за перо, очень, очень часто еще совсем не зная, что выйдет из начатого рассказа, чем он кончится (а он очень часто кончался совершенно неожиданно для меня самого, каким-нибудь ловким выстрелом, какого я и не чаял): как же мне после этого, после такой моей радости и гордости, не огорчаться, когда все думают, что я пишу с такой реальностью и убедительностью только потому, что обладаю «необыкновенной памятью», что я все пишу «с натуры», то, что со мной самим было, или то, что я знал, видел! *Всякая «натура»* входила в меня, конечно, всю жизнь и очень сильно, но ведь одно дело сидеть и описывать то дерево, что у меня перед окном, — или заносить в записную книжку кое-что об этом дереве, — и совсем другое дело писать «Игната», сидя на Капри: неужели Вы думаете, что для того, чтобы написать зимнюю ночь, в которую Игнат шел с вокзала в свое село, в Извалы, я вынимал записные книжки? Разумеется, я иногда кое-что записывал в свои дневнички — и погоду, и пейзажи, и людей, и народный и всяческий другой язык, но ведь так мало, так редко, и пользовался этим и того меньше и реже. Разумеется, как было не записать что-нибудь *иногда!* Мужик, напр., говорит: «А Бог ее знает, как эта Москва *веществует*, — мы ее не знаем!» — *подобное* нельзя было не записать или не запомнить. И еще: я совсем не говорю, что у меня нет рассказов «с натурой» — несколько *есть, есть*, — вот, напр., сейчас вспомнил рассказ «Древний человек» и еще кое-что подобное. Но большинство — сплошная выдумка... Но довольно об этом, извините, что опять надоедаю Вам собою. А «Нигилист», «от нее все качества» и прочее в этом роде для Толстого все-таки нечто непростительное. А чем я живу теперь «в высшем смысле слова» — об этом очень трудно говорить. Больше всего, кажется, чувствами и мыслями о том, чему как-то ни за что не верится, что кажется чудовищно-неправдоподобным, изумительным, невозможным, а между тем дьявольски-непреложным, — о том, что я живу как какой-нибудь тот, к которому вот-вот войдут в 4 ч. 45 м. утра и скажут: «Мужайтесь, час ваш настал...» Очень благодарю Вас, дорогой мой, за добрые слова о «Жизни Арс<еньева>», но, право, я кажется, «откупался» навсегда. <...>

Р. С. Вы меня, повторяю, натолкнули на перечитывание собрания моих «писаний», и вот я уже 6 книг перечитал. Поражен «Деревней» — совсем было возненавидел ее (и сто лет не перечи-

тывал) — теперь вдруг увидел, что она на редкость сильна, жестока, своеобразна. В «Игнате» нашел вчера дикую чепуху: 10 лет тому назад, читая корректуру, я зачеркнул в одном месте описания морозной ночи и палисадника, где стоял Игнат, слово «зеленоватый», заменил его словом «зеленый» и, для пущей силы, написал для типографии на полях. Не «зеленоватый», а «зеленый»! И типография взяла да и всадила это в текст! Получилось нечто столь идиотское, что я нынче ночью раза три просыпался в ужасе.

15 сентября 1947

Дорогой товарищ писатель, я прочел 2 «советских» книжки — одну в стихах — «Василий Теркин» Твардовского — и другую в прозе, какого-то К. Паустовского (пожилой человек, интеллигентный), в которой есть рассказ «Корчма на Брагинке», — и в совершенном восторге и от «Теркина» и от «Корчмы»! Совершенная редкость в этой «советской» литературе! Не читали ли? <...>

Нынче письмо от Телешова — писал вечером 7-го сент<ября>, очень взволнованный (искренно или притворно, не знаю) дневными торжествами и вечерними электрическими чудесами в Москве по случаю ее 800-летия в этот день. Пишет, между прочим, так: «Так все красиво, так изумительно прекрасно и трогательно, что хочется написать тебе об этом, чтобы почувствовал ты хоть на минуту, что значит быть на родине. Как жаль, что ты не использовал тот срок, когда набрана была твоя большая книга, когда тебя так ждали здесь, когда ты мог бы быть и сыт по горло, и богат, и в таком большом почете!» Прочитав это, я целый час рвал на себе волосы.

А потом сразу успокоился, вспомнив, что могло бы быть мне вместо сытости, богатства и почета от Жданова и Фадеева, который, кажется, не меньший мерзавец, чем Жданов. <...>

P. S. В Москве ставят памятник Юрию Долгорукову. А Павла Дм<итриевича> Долгоруков<ова> расстреляли в июле 27 г., а Петра увезли из Праги — куда? (в 45 г.).

7 октября 1947

<...>

P. S. Прочел в «Новом мире» статью какого-то Чарного об Алексее Толстом, до небес его превозносящую. И опять ахнул: какой сказочный негодяй был этот Алеша! М<ожете> пр<едставить>, он писал в своей автобиографии: «Время эмиграции было для меня самым страшным, тяжким во всей моей жизни».

10 июня 1951

А вчера пришел к нам Михайлов, принес развратную книжку Набокова с царской короной на обложке над его фамилией, в которой есть дикая брехня про меня — будто я затащил его в какой-то ресторан, чтобы поговорить с ним «по душам», — очень на меня это похоже! Шут гороховый, которым Вы меня когда-то пугали, что он забил меня и что я ему ужасно завидую. Вы эту книжку, конечно, видели? Там есть и про Вас — что Вы «мудрый и очаровательный», и ни слова о Вас как о писателе. Есть и дурацкое про Поплавского — он, видите ли, был среди прочих парижских поэтов как «скрипка среди балалаек».

9 августа 1951

Р. С. Вышли мои «Воспоминания» в американском издании (наиболее полное издание, не то, что французское и лондонское). «Аргус» из «Н<ового> р<усского> с<лова>» прислал мне несколько рецензий на него из главных нью-йоркских газет: хвалят, но радости мало — деньги за него давно прожиты.

Я только что прочел — впервые — «Мои университеты» Горького. Это нечто совершенно чудовищное — не преувеличиваю! — по лживости, хвастовству и по такой гадкой похабности, которой нет равной во всей русской литературе!

Без даты

Копия

11 августа 1951

Глубокоуважаемый Иван Алексеевич,

Большое спасибо за Ваше любезное письмо. Издательство имени Чехова начинает свою работу примерно в середине сентября. Как я сказал Марку Александровичу, как только организация будет налажена, я надеюсь, что мы сможем с Вами сговориться об издании трех Ваших книг.

Мы хотим издать примерно 25 книг в 1952-ом году, но мы тоже хотим издать по крайней мере три книги в 1951-м году, чтобы конкретно показать фордовской организации, что мы работаем, и работаем быстро.

Очень хотелось бы, чтобы одна из первых трех книг, изданных нами, была бы Ваша. Вера Александровна Александрова будет заведовать нашим редакционным отделом, и я попросил ее снестись с Вами и выбрать первую Вашу книгу. Глубоко уважающий Вас

Ваш Николай Вреден.

Вот, дорогой Марк Александрович, копия письма, полученного нынче мною. Нынче же я послал Вредену заказной авион — изложил, что именно, какие именно три книги мои я предлагаю издать, и сообщил, что «Жизнь Арс<еньева>» уже послана мною для передачи в издательство с Б. И. Николаевским — эта «Жизнь» мною весьма «проработана», как говорят в Москве, и соединена с «Ликой», каковое название уничтожено, так что получится том страниц в 350, на обложке которого значится:

Жизнь Арсеньева
Роман
Первое полное издание

Написал и о старом правописании, о нелепости нового, и о том, что я непременно должен прочесть вторую корректуру набора, которую не смогу сделать, если будет новая орфография, мне неведомая.

Задыхаюсь нестерпимо!

10 часов вечера

Я уже хотел заклеить это письмо, как пришел Зуров и принес 16-ую тетрадь «Возрождения» — там оказалось несколько слов Степановой-Мельгуновой — ответ на мои «Милые выдумки», совершенно ошеломивший меня: это такая дикая, подлая ложь, за которую убить мало!

«Бунин сам лучше всех знает, что вел переговоры с представителями полпредства (?) о возвращении и об издании полного собрания сочинений своих (*мысль о возвращении ему <не> претит* — см. кн. 10 московского журнала “Октябрь”, 1947 г.)»?!

16 августа возвращается в Париж Маклаков. Тотчас обращусь к нему за советом, как привлечь эту мерзавку и ее негодяя мужа к суду.

Маленькая поправка

<...> В «Нов<ом> р<усском> сл<ове>» напечатана заметка И. А. Бунина «Милые выдумки», в которой он обрушивается на меня с *необыкновенным апломбом* !! за мой отзыв («на редкость злобной запальчивости») о его «Воспоминаниях» — отзыв, помещенный в 14-ом т. «Возрождения». Я ничего не имею против того, что опытный писатель, вопреки литературным традициям, раскрывает мой «псевдоним», подчеркивая, что я жена редактора «Возрождения». Но я решительно протестую против того, что г. Бунин позволил себе написать, что я «унизилась до позорной выдумки политической». Допускаю, что слово «вхож» в советское посольство употреблено мною неудачно, но сущности дела это не меняет: И. А. Бунин сам лучше всех знает, что вел *переговоры* с представителями полпредства о *возвращении* и об *издании* полного собрания сочинений своих (мысль о воз-

вращении ему *не претила* — см. кн. 10 московского журн<ала> «Октябрь», 47 г.). *Не все ли равно, где именно и в какой обстановке шли эти переговоры*, о которых писателю самому следовало бы рассказать в своих «Воспоминаниях».

П. Степанова-Мельгунова

Н. Д. Телешов известил меня, что «Госиздат» готовит издание моих «избранных» произведений — и я закатил в этот «Госиздат» такое резкое письмо, угрожая «мировым» скандалом, если это будет сделано вопреки мне, что получил через 2 месяца телеграмму из Москвы: согласно вашему желанию издание ваших избр<анных> произведений *suspendu*.

«Возвращение» мне предлагали, суля золотые горы, но Вы знаете мой отказ.

Наглая, подлая ложь! «Переговоры»!

23 августа 1951

<...> Я уже написал ей, между прочим, что на «новое» правописание *ни за что* не пойду. Да на это есть еще и такая причина: мне важен каждый звук в моих писаниях; без *авторской* корректуры я не могу выпустить книгу, а как же я могу корректировать, не зная этого похабного (и бестолкового!) правописания? А угождать этим Ди-Пи, *снижаться* до них вообще позор. И читать по-старому они прекрасно умеют. Откажет мне издательство? Пусть! Буду продавать все свое добришко — вплоть до Нобелевск<ой> медали — и как-нибудь доживу до смерти, уже близкой.

Маклакова я не беспокоил, отвечать Мельгуновой, думаю, не стоит, — отвечать — значит оправдываться перед этой стервой и редкой дурой. <...>

«Отцов и детей» давно не перечитывал. Перечитаю. Но «Стар<ые> портреты» и особенно «Поездка в Полесье» чудо как хороши. <...>

Кончаю Ремизовым. Какой негодяй, пролаза! Вот уже и в «Н<овом> р<усском> с<лове>» и в «Нов<ом> журнале». И это с красным паспортом и с поездкой в посольство *на поклон* Молотову! У меня лежит «Сов<етский> патриот» (в котором он немало печатался), с интервью, которое он дал Ладинскому в день своего 70-летия:

— Я не эмигрант, я взял советский паспорт логично — и *теперь все в порядке и я очень доволен*.

Так буквально сказал. И вот уже в «Нов<ом> журнале»: «Из книги “С подстриженными глазами”». За одни эти глаза удавить мало. Так это *патологически мерзко!*

Все это пишу потому, что нынче прочел очередную книжонку «Дела», посвященную ему, — с идиотскими похвалами ему и его новыми выкрутасами. «Пусть свинья издохнет на могиле его бабушки!»

Целую Вас обоих. Ваш Ив. Б.

2 сентября 1951

Дорогой Марк Александрович,

Одно дело печататься по новой орфографии в «Новом русском» слове», а другое, для меня, — выпустить в последний раз мои книги. Вы пишете: «У Вас еще на худой конец издательство Гукасова...» Но Гукасов еще ни копейки мне за мои «Воспоминания» не заплатил и когда хоть что-нибудь заплатит, неизвестно. <...>

9 сентября 1951

Вот, дорогие мои Марк Александрович и Татьяна Марковна, чем кончилось мое дело с «Издательством имени Чехова»! Бедный Чехов! При чем он тут?

Не думаю, чтобы это издательство пересмотрело свое постыдное решение. Ну и черт с ним.

Целую Вас, больше писать не могу — устал смертельно. Вам посылаю черновик моего письма — простите. Два чистых заказными шлю: одно Александровой, а другое (копию его) Вредену.

Ваш Ив. Бунин.

9 сентября 1951

Дорогая Вера Александровна,

Получил Ваше письмо ко мне от 6 сентября. Ваше сообщение, что те три книги мои, которые хочет издать Фордовское «Издательство имени Чехова», могут быть изданы только при том условии, если я соглашусь печатать их по так называемой «новой» орфографии. Но я согласиться на это ни в коем случае не могу — как не согласился бы сам Чехов, если бы ему предложили издаваться по этой орфографии, — я хорошо знал Чехова и поэтому смею Вас уверить в этом.

Воспроизвожу дословно, с сохранением Вашей орфографии то, что Вы пишете мне:

«Совет попечителей (боард оф тростис) на заседании, состоявшемся в конце августа, постановил, что все книги без исключения должны печататься по орфографии 1918 года».

таться по новой орфографии. Мотивы, продиктовавшие это решение, серьезны: в результате предварительного обследования выяснилось, что в Нью-Йорке нет наборщиков, знающих старое правописание; кроме того, новое правописание чуть не на четверть сокращает *объем* (!) книги; решающим, однако, является третье соображение: нынешние читатели, особенно из младшего поколения, старого правописания совсем не знают».

Возражаю:

Не может быть того, чтобы не нашелся в Нью-Йорке наборщик, который мог бы набрать мою книгу *по старой* орфографии: всего четыре года тому назад был напечатан в «Новом журнале» мой рассказ «Ловчий» *по старой* орфографии! Куда же девался этот наборщик, неужели он умер и его совершенно нечем заменить?

Вы ошибаетесь, что новое правописание «чуть не на четверть» сокращает объем книги: на четверть не сокращает, но, конечно, сокращает, если *всюду* ставить, как это делалось прежде, твердый знак; *но я на твердом знаке не настаиваю — вполне согласен обойтись без него* (но, конечно, *не в середине слова*, где Вы ставите *нечто* просто страшное для русского языка, а именно: *апостроф*!!)

Затем Вы говорите, что Ди-Пи, особенно из младшего поколения, старого правописания совсем не знают. Что значит «не знают»? Не смогут прочитать слова, если в нем стоит *i* или *ять*? Этого не может быть! А как же даже не Ди-Пи, а молодые люди *в России* читают книги, изданные до революции и в сотнях экземпляров собранные, например, в Румянцевском музее в Москве или в Публичной библиотеке в Петербурге? Нет, *они прекрасно читают эти книги*, знаю, что читают и мои книги, изданные до революции и находящиеся в подобных огромных книгохранилищах. *И неужели «Издательство имени Чехова» имеет в виду только Ди-Пи и совершенно отказывается помогать печататься нам, эмигрантам?* Во всяком случае я никак не могу согласиться *в угоду Ди-Пи писать, например, слово Бог с маленькой буквы или писать в своем рассказе или в своей статье Ленинград вместо Петербурга*. Я соглашался печататься по новой орфографии *только в периодических изданиях*, но свои книги по новой орфографии еще никогда не издавал, за исключением моей книги «Темные аллеи», которую Зелюк *всю набрал без моего спроса* по этой новой орфографии и таким образом поставил меня «перед совершившимся фактом».

Мой *невольный* отказ печататься в «Издательстве имени Чехова» есть, конечно, *для меня нечто катастрофическое* и в материальном отношении. Но что же делать! Надо терпеть, *доживать свои последние дни стойко, в нищете*.

Благодарю Вас, что Вы заботливо храните мою книгу у себя. Но будьте добры передать ее Галине Николаевне Кузнецовой, когда она придет за нею: я ей об этом пишу.

Ваш Ив. Бунин.

ИЗ ПИСЕМ К ТЭФФИ

9 августа 1943

Дорогая сестрица,

<...>И тронут и огорчен, что читаете меня — огорчен потому, что $\frac{1}{3}$ «Нивского издания» есть одна из самых жгучих ран моего сердца — столько там позорного для меня! Валял я тогда что попало и как попало — и тотчас продавал — был беден и не придавал никакого значения тому, что печатал. Да и пьянствовал порядочно...

Целую Вашу руку с неизменной любовью.

Ваш Иван Бунин. <...>

23 февраля 1944

Милая, дорогая сестрица, снова кланяюсь Вам в ножки за Ваши добрые слова ко мне — спасибо, спасибо, спасибо! Пишу Борису, чтобы он дал Вам те несколько рассказов из моей новой книги, которые у него. И очень, очень хочется, чтобы Вы прочли их (это ведь сущая правда, что Вы пишете: «Кто-же как не я...»), и очень боюсь, что на этот раз я возмущу Вас, — да, даже и Вас, и притом незаслуженно, ибо, как я вчера Наталье Ивановне писал, очень огорченной кое-чем «грубо-натуралистическим» в этих рассказах, содержание их вовсе не фривольное, а трагическое. Есть несколько слов и строк в двух-трех из этих рассказов действительно слишком резких, но я их для печати уже вычеркнул, а все прочее я готов защищать до последней капли крови, — это все прочее совершенно необходимо в своем «натурализме», то есть вещественности, без которой (т. е. с абстрактностью) никак нельзя сказать ничего не только «трагического», но просто не стоит город городить. Вот Зайцевы и Наталья Ивановна бранят меня даже за то, что я решился в двух местах упомянуть (только упомянуть!) о женской периодической болезни, а я их спрашиваю, почему можно описывать и расписывать, например, роды, а про это даже словечка нельзя сказать, — про то, что даже в Библии говорится (Рахиль Лавану: «прости, господин, не могу встать, ибо у меня обыкновенное женское»)? И еще спрашиваю: почему живописцы и ваятели могут изображать женское тело, например, или всяких сатиров и фавнов с крайней «натуралистичностью», а мы, писаки, не можем? Впрочем, не буду оправдываться — как хотите, так и судите. А прочитав, напишите мне Ваше мнение с полной откровенностью — не обижусь ни в каком случае. Вся эта книга называется по первому рассказу — «Темные аллеи» — в

котором «героиня» напоминает своему первому возлюбленному, как когда-то он все читал ей стихи про «Темные аллеи» («Кругом шиповник алый цвел, Стояли темных лип аллеи...») — и все рассказы этой книги только о любви, о ее «темных» и чаще всего очень мрачных и жестоких аллеях. Целую Ваши дорогие руки от всей души.

Ваш Иван Бунин.

11 апреля 1944

Дорогая, милая сестрица,

очень благодарю Вас, очень — за добрые слова обо мне в письме к Вере. Счастлив, что Вы поняли мои писания, — Господи Боже мой, как боюсь, что последние! — не так, как многие другие поймут. Жалею, что не все из них у Вас было, — не говоря уже о том, что написано до 40-го года, тут в Грассе. Вообще, если бы Вы видели всю эту мою новую книгу, она бы еще немножко выиграла. А она состоит из трех отделов (кое-что из первого, напечатанного в Париже, Вы, может быть, помните).

I. Темные аллеи. Кавказ. Баллада. Апрель. Степа. Муза. Поздний час.

II. Мамин сундук. По улице мостовой. Руся. Антигона. Смаград. Гость. Визитные карточки. Волки. Зойка и Валерия. Таня. В Париже. Галя Ганская. Генрих. Три рубля. Натали.

III. На постоялом дворе. «В такую ночь...». Лита. Начало. Качели. Кума. Речной трактир. Дубки.

Из второго отдела я не послал Зайцеву, кажется, только «Три рубля», из третьего, кажется, послал только «В такую ночь...». Список этот, думаю, Вам совсем не нужен. Но что делать — хочется поделиться своей последней литературной радостью с таким редким другом, как Вы!

Целую Вашу руку, дорогая моя,

Ваш Иван Бунин.

19 мая 1944

<...> Выходит будто странно — будто мы обмениваемся комплиментами — да как же иначе быть? Вы кое-что — да и больше — цените во мне, а я, повторяю, клянусь Богом, всегда, всегда дивился Вам — никогда за всю жизнь не встречал подобной Вам! И какое это истинное счастье, что Бог дал мне знать Вас! Но — точка, а то наговорю лишнего — тем более, что уже второй час непроглядно темной, проклятой ночи без единого огня, как будто во всем мире, в мертвой тишине, среди которой иногда ни с того

ни с сего частым, частым стуком бьют пулеметы. Вот Вы похвалили меня (а Вы долго молчали, и я боялся, честное слово, боялся, что Вы только из приличия написали в давнем письме к Вере несколько добрых слов обо мне, — что рассказы мои Вам не понравились) — Вы меня похвалили в нынешнем письме, и я, как самолюбивый, честолюбивый, гадкий подросток, засопел, покраснел от радости — и вытащил из кармана еще тетрадку — «вот у меня еще есть...»; хочу этим извиниться, что вздумал сейчас послать Вам то, что Вера нынче только что переписала. Прочтите и ради Бога не чувствуйте себя обязанной опять писать мне о моих писаниях. Прочтите и будьте добры передать этого «Ворона» Зайцеву, а у него, если захотите, возьмите еще 5 из моих последних (лучше чем этот) рассказиков — совершенно диких по своему несоответствию особенно тем последним дням, что дошли до нас, но, может быть, вполне законных по тому, видно, вечному, что бывает в чуму и во все семь казней египетских, о чем говорил тот, ни с кем в мире несравнимый, у которого я бы поцеловал александрийский сапог с усеченным носком (родная внучка которого умерла в прошлом августе в Ницце в нищете, после нескольких лет тяжкого труда, таскания для перепродажи всякого старого хлама, — Елена Александровна фон Розен Мейер, дочь «Сашки», первого сына Александра Сергеевича, которую я имел счастье узнать). А теперь простите — устал, начинаю бормотать несвязно, ложусь спать. Писал Зайцевым, как живем и мы, какими ржавыми колючками и минами, черными вывесками с белыми черепами на деревьях окружены, — спросите их, если захочется. Горячо целую Вашу руку.

Ваш Иван Бунин.

6 марта 1949

<...> ...я прочел «Новоселье», потом «Возрождение», там и тут восхищался Вами, потом ужаснейший роман Мельникова-Печерского «В лесах», теперь одолеваю «Дон Кихота», которого беспрерывно бьют все встречные и поперечные, одолеваю в тщетной надежде зацепиться хоть за что-нибудь испанское — Вы, верно, уже написали какую-нибудь штучку, а я просто в отчаянии: почти убежден, что придется, со стыдом и слезами, возвращать Рогнедову аванс! А из каких средств возвращать? <...>

Ваш Иоанн Рыдалец.

П. С. «Дон Кихота» я читал еще в детстве, — жалкое и сокращенное издание, жалкий перевод. Сейчас читаю полный, отличный перевод. Умен и талантлив был Сервантес на удивление!

10 сентября 1952

Милая сестрица, разбираю свой архивик для отправки в Нью-Йорк в архив при Колумбийском университете, нашел древний номер «Иллюстрированная Россия» с Вашей статей о моих стихах («По поводу чудесной книги», — «Избранные стихи Бунина») и целую Ваши ручки и ножки за хвалу мне и за пощечины сукину сыну Пастернаку.

**ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
ЖУРНАЛА «ОКТЯБРЬ»**

25 марта 1948

Редакции «Октября».

Вопреки совершенно нелепым вымыслам Юрия Жукова («На Западе после войны», десятая кн. «Октябрь» за прошлый год) я не «маленький и сухонький», а выше среднего роста, худощавый, но широкий в кости и в плечах, держусь твердо и прямо, — «фигура-то у вас, папаша, еще знаменитая!» — сказал мне один пленный красноармеец; назвать мое лицо «рафинированным лицом эстета» может только круглый дурак; губами я никогда не жую, пенсне не ношу — только прикладываю к глазам, когда смотрю вдаль; голос имею не «скрипучий», а еще настолько звучный, что, когда читаю в зале перед тысячной публикой, слышно в самых дальних углах; на вечере «Общества русско-еврейской интеллигенции» читал не «с раздражением», а только строго, местами повелительно, как и подобало читать рассказ, написанный отчасти в тоне Корана; и вообще «раздражаться», «злиться» в тот вечер не имел ни малейшей причины, — злобу и жующие губы Жуков приписал мне, очевидно, только потому, что как же обойтись без этих классических пошлостей, раз изображаешь «маленького, сухонького» старикашку?

Совершенно нелеп и лжив и второй мой портрет, сделанный Жуковым, — он ведь не удовольствовался одним, — нелеп тем более, что полностью разрушает первый. Этот портрет сделан уже на основании личного знакомства Жукова со мной и с моей женой, какое знакомство состоялось по окончании вечера, когда Жуков подошел ко мне с каким-то другим господином и сказал мне, какое великое счастье испытал он в Берлине, читая зарубежные издания каких-то моих книг. Тут я с машинальной любезностью, обычной в таких случаях, что-то отвечал на его восторги — и, конечно, уклончиво, шутливо на его бестактные

вопросы, намерен ли я вернуться в Россию. А что же прочел я в «Октябре», только недавно и случайно попавшем в мои руки? Прочел, что ядовитый и, как видно, энергичный старикашка превратился вдруг в блаженного, расслабленного полуидиота, что-то смущенно бормочущего, называющего свою жену «матушкой», невзирая на свое «рафинированное лицо эстета», — и т. д., и т. д.

Ив. Бунин.

ИЗ ПИСЕМ К Ф. А. СТЕПУНУ

28 января 1951

Дорогой друг, дорогой Федор Августович, *очень, очень* благодарю Вас за те слова, которые *только Вы* могли сказать обо мне (в 13-й тетради «Возрождения»). И как горюю всегда, что мы с Вами так мало встречались когда-то (а теперь уж никогда, верно, не встретимся, ибо я человек уже мало-помалу умирающий) и что было время, когда я был вполне сумасшедший, *спившийся вдребезги* и писавший даже Вам письма того бесноватого, из которого бес мог войти только в одну из тех свиней, что бросились с обрыва в озеро Геннисаретское! Обнимаю Вас с неизменной любовью и целую руку дорогой Наталии Николаевны. Напишите, пожалуйста, или попросите ее написать в свободную минуту хоть несколько слов о том, каковы Ваши планы, — едете ли Вы куда-нибудь или нет? С Маргой и Галей мы часто переписываемся, рады, что они уже сносно устроились.

Вера Николаевна шлет Вам обоим сердечный поклон.

Ваш Иван Бунин.

10 марта 1951

<...> Жаль, что Вы написали в «Возрождении» что «в “Темных аллеях” *есть* некоторый избыток рассматривания женских прельстительностей»; <...> Какой там «избыток»? Я дал только тысячную долю того, как мужчины всех племен и народов «рассматривают» всюду, всегда женщин со своего десятилетнего возраста и до 90 лет (вплоть до всякой даже *моды* женской): последите-ка, как жадно это делается даже в каждом трамвае, особенно когда женщина ставит ногу на подножку трамвая! И есть ли это только развратность, а не нечто в тысячу раз иное, почти страшное?

Целую Вас и руку Натальи Николаевны.
Ваш Иван Бунин.

<...>

26 марта 1951

Дорогой Федор Августович, чрезвычайно благодарю Вас за Ваше чудесное и такое во всем правильное (о том, что сейчас в Европе, — особенно во Франции, — да и во всем мире) письмо. И жалко чрезвычайно, что не могу ответить на него как хотелось бы, — на письма я *всегда* был бездарен, ничтожен (м. б., по лености прежде всего), а теперь и совсем никуда не гожусь <...>.

«Длинное море — бессонные ночи мои!» — так сказал, кажется, Иоанн Златоуст. И такое же «длинное море» каждая ночь моя теперь: не сплю, задыхаюсь, иногда добираюсь с постели до письменного стола, кое-что записываю (так написана половина книги моих «Воспоминаний»), потом опять в постель — что-нибудь читать, а больше всего — думать, думать — и тупо дивиться: как же это так — вот-вот ложиться в могилу?! <...> «И царь Давид состарился и вошел в лета, и не мог согреться, сколько ни одедали его... и положили с ним девственницу, дабы согрела его, и он не познал ее...». Все это вполне мое. Нет только девственницы — так редки они теперь! И хорошо, что нет: не познал бы и я, к великому стыду своему, я, автор будто бы бесстыдных «Темных аллей», столь недавно написанных! Кстати: откуда Вы взяли «избыток» в них «разглядывания женских прельстительностей»? Это ошибка, происшедшая от рассказа «Визитные карточки», где писатель и впрямь очень пристально разглядывает, наблюдает, считая это своим *делом*. <...>

Простите ради Бога это мерзкое письмо — я нынче слаб и задыхаюсь особенно, пишу в постели. Сердечно обнимаю Вас, целую руку дорогой Наталье Николаевне.

Вера Николаевна шлет Вам обоим дружеский поклон.

Ваш Иван Бунин.

28 августа 1952

Мой дорогой, высокий друг, милый Федор Августович. Я все слабею, все больше задыхаюсь, жить мне осталось, думаю, немного, но делаю усилия, добираюсь до письменного стола иногда, с помощью Веры привожу в порядок мой архивчик для отправки в Америку, в архив Колумбийского университета, и вот нашел

нынче Вашу замечательную статью о «Митиной любви» в «Современных записках» 1926 г. и хочу Вам сказать, до чего я тронут Вашим вниманием ко мне! Благодарю Вас, обнимаю от всей души! С неизменной любовью целую руку дорогой Наташи, — пусть простит она мне, старику, что я осмеливаюсь так называть ее.

Ваш Иван Бунин.

Воскресенье, 12 октября 1952

Дорогой Федор Августович, очень, очень благодарю Вас и дорогую Наталью Николаевну за Ваше последнее, столь сердечное письмо ко мне! Благодарю так поздно потому, что был болен тяжким гриппом (да и сейчас еще не совсем оправился). То, что Вы будете читать обо мне, — новое доказательство Вашего внимания ко мне, такого ценного для меня. Простите за нескромность: я вскоре отправляю свой архивчик в архив Колумбийского университета, — увы, вообще привожу свои делишки в некоторый порядок в ожидании конца своих дней, — и лежа в постели, пересмотрел целый сундук критических отзывов о моих писаниях, — великих похвал им, — но как резко выделяются среди них, бьют в нечто главное Ваши! И потому с радостью послал бы Вам хоть что-нибудь из моих книг, но уж давным-давно все, все разошлись они, а издает меня теперь только Нью-Йорк, «Чеховское издательство», которому поручил я послать новое издание «Арсеньева» и те 2 новые книги (сборник разных рассказов), которые, вероятно, выйдут в конце сего года. Вот все, что я могу сделать!

Обнимаю Вас, дорогой друг, целую руку Наталии Николаевны и передаю поклон Веры Вам обоим.

Ваш Иван Бунин.

П. С. Тэффи была очень плоха последнее время и все же поразила нас ее смерть.

13 октября 1952

Понедельник

Только что получил письмо из Нью-Йорка, из «Чеховского издательства»: книги мои, о которых писал Вам вчера, пошли в набор, — значит, к Рождеству, Бог даст, выйдут и немедленно будут доставлены Вам. Вы найдете в них многое годное для Вашего чтения обо мне. Ваш Иван Бунин.

П. С. Корректуру этих книг будут читать Галя и Марга.

Роды моих сочинений

О НАРОДЕ

Подторжье. Н. В. *Деревня*. Сосны. Мелитон. На край света. Древний человек. Сила. Н. В. *Хорошая жизнь*. Сверчок. *Ночной разговор*. Н. В. *Весенний вечер*. Захар Воробьев. Н. В. *Иоанн Рыдалец*. Н. В. Н. В. *Жертва*. Н. В. *Оброк*. Н. В. *Лирник Родион*. Н. В. *Ермил*. *Князь во князьях*. *Забота*. Будни. Личарда. Сказка. *Хороших кровей*. Н. В. Н. В. *Аглая*. Н. В. *Я все молчу*. Н. В. *Святые*. Мухи. Лапти. *Слава*. Н. В. *Косцы*. О дураке Емеле. *Обуза*. *В саду*. Н. В. *Божье древо*. Муравский шлях. Распятие. Пожар. Журавли. Сокол. Людоедка. Н. В. *На базарной улице*. Илюшка. Полдень. Бродяга. Слезы. Блаженные. *Коренной*. *Комета*. *Стропила*. Летний день. Дедушка. Канун. До победного конца. Письмо. Птицы небесные. Поруганный Спас. Н. В. *Сны*. Н. В. *Полуденный зной*.

Подчеркнутое считаю наиболее ценным, Н. В. — особенно.

О ЛЮБВИ

Митина любовь. Н. В. *Последнее свидание*. *Легкое дыхание*. Сын. Н. В. *Сны Чанга*. *При дороге*. *Клаша*. Н. В. *Грамматика любви*. Н. В. *Солнечный удар*. Мордовский сарафан. Н. В. *Ида*. Н. В. *Игнат*. *Дело корнета Елагина*. Н. В. *Готами*. *Метеор*. *Полуночная зарница*. Н. В. *Неизвестный друг*. Н. В. *В ночном море*. *Старый порт*. Н. В. *Убийство*. Н. В. *Ущелье*. Первая любовь. *Прекраснейшая солнца* (о Петрарке). *Заря всю ночь*. Осенью. Маленький роман. Н. В. «*В такую ночь...*». *Памятный бал*. Н. В. *Весной, в Иудее*. Костер. Н. В. *Ночлег*. Н. В. *Вся книга «Темные аллеи»*. В этой книге особенно «*Поздний час*». Н. В. Н. В. *Казимир Станиславович*.

МИСТИЧЕСКИЕ

Третьи петухи. *Преображение*. *Пингвины*. Музыка. В некотором царстве. Именины. Н. В. *Ночь отречения*. Н. В. *Безумный художник*. *Ночь* (ночные цикады).

О СМЕРТИ

Смерть пророка. Н. В. *Исход*. Огонь пожирающий. Н. В. *К роду отцов*. Алексей Алексеевич. Ландо.

РАЗНЫЕ

Страшный рассказ. История с чемоданом. *Идол*. *Телячья головка*. Цыфры. Молодость. Благосклонное участие. Красные фо-

нари. Небо над стеной. Свидание. Петухи. Ужас. Подснежник. Первый класс. *Далекое*. Грибок. Надписи. Пост. Слепой. *Обреченный дом*. Конец. Отто Штейн. Н. В. Н. В. *Петлистые уши*. Постоялец. Старуха. Н. В. *Несрочная весна*. *Богиня*. Н. В. *Воды многие*. Н. В. *Жизнь Арсеньева* (издание «Издательств» имени Чехова»). Н. В. *Суходол*. Н. В. *Последний день*.

Может быть, дорогой друг, Вам это не понадобится? Думаю, что понадобится. *Очень многое* из этого списка вошло в те две книги, что выйдут не позднее Нового года. Обнимаю Вас, целую руку дорогой Наталии Николаевны.

Иван Бунин.

Половину того, что издано в 6 томиках Марксом в 1915 г., от-
вергаю!

СТИХИ

Избранные стихи. Переводы в стихах: Н. В. *Три мистерии* Байрона (Каин, Манфред, Небо и Земля). Н. В. *Песнь о Гайавате* Лонгфелло. Четыре фрагмента из «Золотой легенды» Лонгфелло. *Годива* Теннисона.

Н. В. *Книга «Освобождение Толстого»*. Н. В. *Книга «Тень Птицы»*. Н. В. *Книга «Воспоминания»*. Н. В. *Книга «Окаянные дни»*.

КНИГА «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ»

Темные аллеи. Кавказ. Н. В. *Баллада*. Степа. Муза. Н. В. *Поздний час*. Н. В. *Руся*. Красавица. Дурочка. Антигона. Смарагд. Гость. Волки. Н. В. *Визитные карточки*. Н. В. *Зойка и Валерия*. Н. В. Н. В. *Таня*. Н. В. *В Париже*. Н. В. *Галя Ганская*. Н. В. *Генрих*. Н. В. Н. В. *Натали*. В одной знакомой улице. *Речной трактир*. Кума. Начало. «Дубки». Барышня Клара. Н. В. «*Мадрид*». Второй кофейник. Н. В. *Железная шерсть*. Н. В. *Холодная осень*. Пароход «Саратов». Н. В. *Ворон*. Камарг. Сто рупий. *Месть*. *Качели*. Н. В. *Чистый понедельник*. Н. В. Часовня.

13 октября 1952,
понедельник

Дорогой Федор Августович, продолжая разбирать свой «архив», нашел открытку, которую прислал мне в Грасс покойный Илья Исидорович: вся эта открытка состоит из выписки из Вашего письма к нему относительно моего рассказа «Божье дерево», напечатанного в «Современных записках» в 1928 г. Вы писали Илье Исидоровичу следующее: ««Божье дерево» Бунина — один

самых пленительных и самых глубоких его рассказов. Яков Демидыч написан им совершенно изумительно. Если написать философский комментарий ко всем его разбросанным по рассказу словам и изречениям, то выйдет большой философский труд. Неприятно мне в рассказе, что это изумительное миросозерцание дважды садится на корячки по своей надобности, но это в конце концов не главное».

Напоминаю, — м. б., Вы забыли, — что этот Яков Демидыч — караульщик сада, липецкий крестьянин, *одноворец*, говорящий старинным, великолепным языком.

Дорогой Федор Августович, «не могу молчать!» — нынче послал Вам avion и вот опять пишу: Вы ошиблись, уже кое-что за-памятовали относительно моего рассказа, спутали, когда писали Илье Исидоровичу! Яков Демидыч — деликатнейший человек, умница, натура тонкая, благородная, он *никак не мог* садиться на корячки при авторе (рассказа о нем)!!! Это не он, а какой-то «*московский обыватель*» (обыватель), «стрицкий», приехав в деревню, сел где-то на корячки — позорно бежал от собак, прибежавших к нему в чайнии поживиться последствием его сидения. Это о нем, помирая со смеху, рассказывал Яков Демидыч.

Ваш Иван Бунин.

